



ЛЕВ ШЕСТОВ

Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше

<Фрагменты>

Wehe alien Liebenden, die nicht noch eine
Hohe haben, welche uber ihrem Mitleiden ist!

*F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra
(Von den Mitleidigen)*

Горе всем любящим, у которых нет более
высокой вершины, чем сострадание их!

*Ницше Ф. Так говорил Заратустра
(«О сострадательных»)*

I

В своей книге «Что такое искусство» граф Толстой не в первый уже раз, но со всей страстностью впервые вступившего в борьбу человека обрушивается на современное общество. Книга называется «Что такое искусство», но не нужно особой проницательности, чтобы понять, что не в искусстве дело, и что не оно занимает собою её автора. Гр. Толстой говорит, что сочинение это задумано им ещё 15 лет тому назад, но что оно не могло быть доведено до конца, потому что мысли по этому предмету не были ещё и для него самого вполне ясны. В сущности, это не совсем так. 15 лет тому назад появилась в печати статья гр. Толстого, называемая «Мысли, вызванные переписью в Москве» — и в ней уже основные положения «Что такое искусство» были высказаны вполне. Та душевная буря, которая оторвала гр. Толстого от русской интеллигенции и унесла его к иным берегам, где он научился говорить странные и чуждые нам слова, — дело давно минувших дней. «Что такое искусство» — лишь заключительное слово длинной проповеди, начатой много лет тому назад. Я говорю «проповеди», ибо все произведения последних годов гр. Толстого, даже художественные, имеют исключительную задачу: сделать выработанное им мировоззрение обязательным для всех людей. Такое стремление уже резко проявилось в «Анне Карениной». Эпиграфом к ней служит евангельский стих: «Мне отмщение и Аз воздам». Мы привыкли его истолковывать в том

смысле, что окончательный суд над людьми может и должен быть произнесён не человеком, и что удача или неудача нашей земной жизни не служит доказательством правоты или неправоты нашей. Но в «Анне Карениной» чувствуется совершенно иное понимание евангельского текста. Уже в этом романе гр. Толстой не только изображает человеческую жизнь, но судит людей. И судит не так, как должен судить беспристрастный, спокойный судья, не ведающий жалости, но не знающий и гнева, а как человек, глубоко и страстно заинтересованный в исходе разбираемого им процесса. Каждая строчка этого замечательного произведения направлена против невидимого, но определённого врага или в защиту невидимого же, но тоже вполне определённого союзника. И, чем сильнее враг, тем острее и утончённее оружие, посредством которого побивает его гр. Толстой, тем искуснее, сложнее, незаметнее работа, посредством которой подкапывается под него автор. Степан Аркадьевич Облонский побивается легко — ироническими замечаниями, комическими затруднениями, в которые он каждый раз попадает. Каренин — уже посерьёзней, но и с ним сравнительно немного приходится хлопотать. Иное дело — Вронский и Кознышев. Это люди покрупнее; если они не могут по собственной инициативе создать что-либо новое, то зато они умеют развить достаточно силы, чтобы поддержать то и тех, что и кого считают своими. Ими держится известный строй; они — столпы, устойчивость которых гарантирует прочность всего здания. И на них гр. Толстой обрушивается со всей силой своего громадного дарования. Не только вся деятельность — вся жизнь их сведена на нет. Они и борются, и хлопочут, и увлекаются — но всё это оказывается чем-то вроде беганья белки в колесе. Они служат какому-то бессмысленному идолу, имя которому — тщета. Послушайте, как характеризует гр. Толстой нравственные убеждения Вронского: «Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих всё, что должно и не должно делать... Правила эти несомненно определяли, — что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, а женщинам можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорблений, но оскорблять можно». Вы видите, что, по мнению автора, источник нравственных побуждений Вронского — пустые общественные предрассудки. С Кознышевым то же или почти то же. Его увлечения — есть только модная подражательность. Его душевная

работа — поверхностная деятельность ума, которая тем меньше значит, чем полнее и последовательнее она выражается. Итог его жизни — никому не нужная книга, остроумные разговоры в гостиных и бесполезное участие в различных частных и общественных учреждениях. Вронский и Кознышев — это всё, что мог найти гр. Толстой среди призванных им к суду представителей русского интеллигентного общества нового времени. К ним присоединяются ещё мимоходом очерченные фигуры — но всё это люди незначачие и не могущие сказать своё определённое слово читателям.

Но последним и главным подсудимым, по поводу которого, очевидно, и приведён в начале книги евангельский стих — является Анна. Её ждёт отмщение, ей воздаст гр. Толстой. Она согрешила и должна принять наказание. Во всей русской, а может быть и в иностранной литературе ни один художник так безжалостно и спокойно не подводил своего героя к ожидающей его страшной участи, как это сделал гр. Толстой в своём романе с Анной. Мало сказать безжалостно и спокойно — с радостью и торжеством. Позорный и мучительный конец Анны для графа Толстого — отрадное знамение. Убивши её, он приводит Левина к вере в Бога и заканчивает свой роман. Если бы Анна могла пережить свой позор, если бы у неё осталось сознание своих человеческих прав и она умерла не раздавленной и уничтоженной, а правой и гордой, у гр. Толстого была бы отнята та точка опоры, благодаря которой он мог сохранить своё душевное равновесие. Пред ним явилась альтернатива — Анна или он сам, её гибель или его спасение. И он пожертвовал Анной, которая при живом муже пошла за Вронским. Гр. Толстой отлично чувствует, что это за муж для Анны — Каренин; как никто он описывает весь ужас положения даровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной узами брака к ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать обязательными, священными, ибо в существовании обязательности вообще он видит доказательство высшей гармонии. И на защиту этой обязательности он восстаёт со всей силой своего художественного гения. Анна, нарушившая «правило», должна погибнуть мучительной смертью.

Все действующие лица «Анны Карениной» разделены на две категории. Одни следуют правилу, правилам и вместе с Левиным идут к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере смелости и решимости своих действий,

подпадают более или менее жестокому наказанию. Кому многое дано, с того много и взыщется. Анна — наиболее даровитая, её ждет крайний позор. Другие страдают меньше — пока. Нужно думать, что если бы граф Толстой довёл в «Анне Карениной» до конца жизни всех своих героев, то всем было бы воздано по соответствию с тем, насколько и как они нарушали «правила».

Однако, в «Анне Карениной» объём «правил», почитаемых гр. Толстым за обязательные, ещё сравнительно невелик. В эпоху создания этого романа художник даёт добру только относительную власть над человеческой жизнью. Более того, служение добру как исключительная и сознательная цель жизни ещё отрицается им. Как в «Войне и Мире», так и в «Анне Карениной» гр. Толстой не только не верит в возможность обмена жизни на добро, но считает такой обмен неестественным, фальшивым, притворным, в конце концов обязательно приводящим к реакции даже самого лучшего человека. В «Войне и Мире» он произносит суровый приговор над Соней, этой добродетельной, любящей и так глубоко преданной семье Ростовых девушкой. В эпилоге, где выступают на сцену молодые семьи Николая Ростова и Пьера Безухова, жизнь выросших на наших глазах людей — Пьера, Наташи, Николая и княжны Марьи — изображается осмысленной и полной. Они все нашли себе своё место и свою работу и спокойно продолжают дело своих отцов. Их существование нужно, понятно. Одна Соня, случайный, всех стесняющий пришлец, уныло сидит за самоваром, исполняя роль не то няньки, не то приживалки. А за её спиной подруга её детства Наташа и княжна Марья, так много умилявшаяся над идеями о добродетелях и потом отнявшая у Сони Николая, обсуждают её жизнь и приводят текст из Евангелия, которым её жалкое положение признаётся вполне заслуженным.

Вот их разговор:

— Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

— Что? — с удивлением спросила графиня Марья.

— «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, — я не знаю; но у неё отнимется и всё отнялось. Мне её ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет (курсив гр. Толстого), как на клубнике.

Едва ли нужно говорить, что подчёркнутый «пустоцвет» и его объяснение: «у неё нет эгоизма», и потому у неё «всё отнялось» — не только мнение Наташи и княжны Марьи, которая хоть и иначе толковала Евангелие, но всё же, «глядя на Соню», — соглашалась с Наташею; всякому очевидно, что это мнение двух счастливых, но не выдержавших испытания добродетели женщин, есть и мнение самого автора «Войны и Мира». Соня — пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие эгоизма, несмотря на то, что она вся — преданность, вся — самоотвержение. Эти качества, в глазах гр. Толстого — не качества, ради них — не стоит жить; кто ими только обладает — тот лишь похож на человека, но не человек. Наташа, вышедшая замуж за Пьера через несколько месяцев после смерти князя Андрея, княжна Марья, которой «состояние имело влияние на выбор Николая», — обе, умевшие в решительную минуту взять от жизни счастье — правы. Соня — неправа, она — пустоцвет. Нужно жить так, как жили Наташа и княжна Марья. Можно и должно стараться «быть хорошим», читать священные книги, умиляться повествованиям странников и нищих. Но это — только поэзия существования, а не жизнь. Здоровый инстинкт должен подсказать истинный путь человеку. Кто, соблазнившись учением о долге и добродетели, проглядит жизнь, не отстоит вовремя своих прав — тот «пустоцвет». Таков вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был у него в эпоху созидания «Войны и Мира». В этом произведении, в котором автор подводит итог своей 40-летней жизни, добродетель *an sich*, чистое служение долгу, покорность судьбе, неумение постоять за себя — прямо вменяются человеку в вину. Над Соней, как впоследствии над Анной Карениной, произносится приговор, — над первой за то, что она не преступила правила, над второй — за то, что она преступила правило.

Но ещё в «Анне Карениной» антипатия гр. Толстого к людям, посвятившим себя служению добру, проявляется со всей силой. Какой жалкой изображена там Варенька с её бедными, больными и её безропотной жизнью при госпоже Шталь! И с каким отвращением вспоминает Кити о своих попытках служения добру и свою встречу с Варенькой за границей. Она предпочитает лучше, чтоб её муж был неверующим — «она, которая считает, что неверие погубит его в будущей жизни» — чем чтоб он был таким, какой была она сама за границей. Наконец, главный герой романа, *alter ego* автора (даже фамилия его произведена от

имени гр. Толстого: Лев — Лёвин) — тот прямо заявляет, что сознательное служение добру — есть ненужная ложь. Вот что о нём рассказывает автор: «Прежде (это началось почти с детства и всё росло до полной возмужалости), когда он (Лёвин) старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая деятельность всегда была нескладная и сходилась на нет; теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, хотя и не испытал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно становится всё больше и больше. Теперь он, точно против воли, всё глубже и глубже врезывается в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отвернув борозды». И благодаря тому, что он порвал со своим прошлым, что отказался думать о служении добру, всей России, всей деревне и т. д., он уже всегда, при всех жизненных обстоятельствах знает, что ему делать и как поступать, что важно и что не важно. Семья должна жить так же, как жили деды и отцы, хозяйство нужно вести возможно лучше и для этого нанимать рабочих как можно дешевле. О делах брата и сестры и всех мужиков, к нему ходивших за советами, нужно позаботиться, но работнику, ушедшему домой в рабочую пору потому что у него помер отец — простить нельзя, хотя и жалко его. Лёвина мучила мысль о том, что он не знает, для чего живёт и как жить, но, тем не менее, он «твёрдо прокладывал свою особенную определённую дорогу в жизни и под конец убедился, что хотя он и не ищет добра, а ищет своего счастья, но тем не менее или, вернее, именно потому его жизнь не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра».

II

Откуда же взялся этот «смысл добра»? Отчего добро пришло благословить Лёвина, а не других действующих лиц романа? Отчего Анна погибает и заслуженно, Вронский — обращается в развалину, Кознышев — влачит призрачное существование, а Лёвин мало того, что пользуется всеми благами жизни, ещё приобретает право на глубокий душевный мир — прерогативу немногих и исключительных людей? Почему судьба так несправедливо оде-

лила Лёвина и так жестоко обидела Анну? Для другого писателя — натуралиста, например — подобные вопросы существовать не могут. Для него несправедливость судьбы — основной принцип человеческой жизни, столь очевидно вытекающий из закона естественного развития, что ему и удивляться не приходится. Но такой писатель не цитирует Евангелия и не говорит о возмездии. У гр. Толстого, наоборот, самый роман «Анна Каренина» вызван этим вопросом. Он не описывает жизнь, а допрашивает её, требует от неё ответа. Его художественное творчество пробуждается лишь потребностью разрешить мучающие его вопросы. Оттого все его произведения, и малые и большие, и «Война и Мир», и «Смерть Ивана Ильича», и публицистические статьи имеют характер совершенной законченности. Гр. Толстой предстаёт перед публикой всегда с ответами и ответами, данными в такой определённой форме, которая вполне удовлетворяет наиболее требовательного и строгого в этом смысле человека. И это, конечно, не случайность, не может быть случайностью. В этом — основная черта творчества гр. Толстого. Вся та огромная внутренняя работа, которая понадобилась для создания «Анны Карениной» или «Войны и Мира», была вызвана назревшей до крайней степени потребностью понять себя и окружающую жизнь, отбиться от преследующих сомнений и найти для себя — хоть на время — прочную почву. Слишком серьёзны и настойчивы все эти запросы, чтоб можно было от них спрятаться за простой обрисовкой непосредственно бросающихся в глаза образов действительности или передачей воспоминаний из своего прошлого. Нужно иное. Нужно найти своё право в жизни. Нужно найти силу, бóльшую, чем сила человека, которая бы поддержала, защитила это право. Личные вкусы, симпатии, пристрастия, увлечения, страсти — все те элементы, на которые обыкновенно писатели-реалисты разлагают человеческую жизнь — не обеспечивают ничего и не могут успокоить гр. Толстого. Он ищет могучего, всеильного союзника, чтоб его именем говорить о своих правах. Вся сила гения гр. Толстого направлена к тому, чтоб отыскать этого союзника и переманить его на свою сторону. И в этом деле гр. Толстой беспощаден. Нет ничего такого, чего бы он не уничтожил, если б оно явилось ему препятствием к достижению этой цели. И нет границ его душевному напряжению, когда речь идёт об этом священнейшем его интересе. Лгать, притворяться, придумывать ложные факты — гр. Толстой не хочет и не может. Он пишет не

для других, а для себя. Поэтому-то он не только не прибавляет своему Лёвину ни одного не принадлежащего ему качества, но и честно и откровенно изображает все его недостатки и смешные стороны. «Таков Лёвин, — говорит нам гр. Толстой, — и преувеличенно ревнивый, и эгоист, бегущий общественных дел, и неловкий, неотёсанный бирюк — и тем не менее добро с ним, его жизнь имеет определённый смысл добра». Он не только устроил свою жизнь сообразно своим потребностям и желаниям, но он верно угадал, куда идти, что делать для того, чтобы добро было на его стороне. А «добро» — это и есть та могучая сила, которая делает Лёвина великаном в сравнении с другими людьми, ибо сильнее добра — нет ничего. И в момент появления «Анны Карениной» вы могли в чём угодно убедить гр. Толстого, только не в том, что добро не за Лёвина. Мало того, что за Лёвина — оно против всех, кто думает, чувствует и живёт не по-лёвински; оно против Кознышева, Вронского, против Анны, и оно им отмстит, оно их накажет, как бы временно они ни торжествовали свою победу над Лёвиным. Лёвин словно плуг врезался в землю. Та сила, которая нужна была гр. Толстому — найдена и на его стороне. Все Вареньки, Сони и другие добродетельные существа служат не настоящему добру; ибо они не по-лёвински живут — и их валит гр. Толстой в одну кучу с Вронским и Анной. Для них не уготовлены трагедии и жестокие удары, но их постылое существование хуже какого угодно несчастья. Гр. Толстой никого из жертв своих не жалеет. Вы нигде не услышите у него мягких нот сострадания, которые так часто слышны в произведениях Диккенса, Тургенева и даже у эксперименталистов, например, у Золя и Бурже, никогда не пропускающих возможности подчеркнуть свои гуманные чувства. Гр. Толстому, может быть, это покажется странным, но многие читатели упрекают его в холодности, в бесчувственности, в чёрствости. Вести Анну Каренину под поезд и ни разу не вздохнуть! Следить за агонией Ивана Ильича — и не пролить ни одной слезы! Это кажется до того непонятным и возмутительным многим читателям, что они готовы даже отрицать художественный гений за гр. Толстым. Им представляется, что назвать гр. Толстого гением — значит оскорбить нравственность, ставящую впереди всех своих требований умение сочувствовать несчастию ближнего. Они считают своей важнейшей обязанностью переводить гр. Толстого в разряд второклассных писателей, не могущих сравниться с Диккенсом или Тургеневым, полагая,

что таким способом они отстаивают святое право сострадания. По их мнению, тот не может называться великим художником, кто не проявляет достаточно сочувствия к страданиям ближнего. И они — эти читатели — по-своему даже слишком правы. Они хотят быть сострадательными, потому что сострадание — это всё, что они могут дать от себя обиженным судьбой людям. Жалея несчастных, проливая слёзы над погибающими — они успокаивают вечно тревожащие их упрёки совести. «Нельзя поставить на ноги свалившегося — так поплачем над ним, всё легче будет», — рассуждают они. Кому легче будет? На этот вопрос они не отвечают, этого вопроса они себе не ставят, не смеют ставить. И понятно, гр. Толстой, не проявляющий гуманных чувств, пугает их, и они торопятся к «Степному королю Лиру», к рассказам Диккенса, даже к «Лурду», ибо там ужас, возбуждаемый картинами несчастья, разрешается благородными чувствами сострадания, подсказываемыми авторами читателю. Даже Золя, тот Золя, которого так не любит гр. Толстой, во всех своих произведениях приводит нас в умиление своей способностью сострадать горю своих героев.

У графа же Толстого нет и следа такого мягкосердечия. Русская публика с ужасом услышала весть о рождении в Европе нового направления — ницшеанства, вождь которого проповедовал беспощадную суровость к слабым и несчастным. «Что слабо — то нужно ещё толкнуть». «Не желай быть врачом у безнадежно больного»... Мы думали, что до Ницше никто не возвещал таких и подобных им правил, как заповедей нравственности. Более того, мы были убеждены, что попираемая на Западе нравственность найдёт у нас в России надёжное убежище. Против Ницше мы считали возможным выставить своего богатыря, «великого писателя земли русской» — гр. Толстого. Даже те читатели, о которых шла речь выше, читатели, инстинктивно бежавшие от гр. Толстого к Тургеневу, даже и они видели в авторе «Войны и Мира» своего естественного и могучего защитника против надвигающейся с Запада грозы. И гр. Толстой выступил против Ницше и его направления с чисто юношеской на вид свежестью и страстью убеждения. В книге «Что такое искусство», как уже было замечено, речь идёт не об искусстве и даже не о французских поэтах и операх Вагнера, о которых в ней подробно говорится, — речь идёт о более серьёзных и важных вопросах, чем искусство — о нравственности, о религии и о более значитель-

ном и глубоком писателе, чем Верлен или Бодлер — о Ницше. Правда, имя Ницше редко называется гр. Толстым, цитат из его произведений совсем нет. Но гр. Толстой делает Ницше ответственным за новое направление в литературе. Он говорит: «Это последствие ложного отношения к искусству уже давно проявлялось в нашем обществе, но в последнее время, с своим пророком Ницше и последователями его и совпадающими с ним декадентами и английскими эстетамы, выражается с особенною наглостью. Декаденты и эстеты вроде Оскара Уайльда избирают темою своих произведений отрицание нравственности и восхваление разврата». К сожалению, повторяю, гр. Толстой, возлагая на Ницше ответственность за все грехи нового поколения, не касается ни одним словом его философского учения. Мне кажется даже, что гр. Толстой знает о Ницше только понаслышке, из вторых рук. На это указывает, между прочим, сближение, делаемое гр. Толстым между Ницше и О. Уайльдом. Если бы гр. Толстой знал сочинения Ницше, он бы не повторил этих слов. Если бы гр. Толстой читал Ницше — он едва ли бы стал говорить о «наглости». Можно принимать или не принимать учение Ницше, можно приветствовать его мораль или предостерегать против неё, но зная его судьбу, зная, как пришёл он к своей философии, какую ценою было им куплено «своё слово — нельзя ни возмущаться им, ни негодовать против него. У Ницше было святое право говорить то, что он говорил. Я знаю, что слово «святой» нельзя употреблять неразборчиво, всуе. Я знаю, что люди охотно злоупотребляют им, чтобы придать больше весу и убедительности своим суждениям. Но в отношении к Ницше я не могу подобрать другого слова. На этом писателе — мученический венец. У него было всё отнято, чем красится обыкновенно человеческая жизнь, и взвалена такая тяжкая ноша, какую редко кому-либо приходится нести на себе. У него есть рассказ о трёх превращениях, которым подвергается человек в своей жизни. Сперва, говорит он, человек превращается в верблюда. «Что тяжело? спрашивает выносливый дух, и, подобно верблюду, опускается на колени и ждёт, чтоб его нагрузили. Что наиболее тяжело, вы, герои? так спрашивает выносливый дух — я возьму всё это на себя и буду радоваться своей силе. Унижаться, чтоб оскорбить своё высокомерие? Дать проявиться своей глупости, чтоб посмеяться над своей мудростью? Или покинуть своё дело, когда оно готово праздновать победу? Взбираться на высокие горы, чтоб искушать искусителя? Или

питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть духовный голод? Или в том: быть бедным и отсылать утешителей и вести дружбу с глухими, которые никогда не слышат, что тебе нужно? Или в этом: идти в грязные воды, если это воды истины, и отбрасывать от себя холодных лягушек и горячих жаб? Или в том: тех любить, которые нас презирают, и протягивать руку привидению, явившемуся пугать нас? Всё самое трудное принимает на себя выносливый дух, подобно верблюду, спешащему со своим грузом в пустыню, идёт и он в свою пустыню»¹. В этих образах — краткая история длинной подвижнической жизни. Да не подумает читатель, что здесь есть хоть тень преувеличения. Наоборот — здесь главного, быть может, самого ужасного, — нет.

Читая эти строки, можно думать, что Ницше, выносливый дух, добровольно шёл на муки, добровольно склонил колени и сознательно принял на себя непосильную для человека ношу. В таком сознательном и добровольном подвижничестве, как бы тяжело само по себе оно ни было, есть утешение гордости: человек чувствует, что он шёл на великое дело. Но у Ницше этого не было. Несчастье свалилось на него внезапно, неожиданно, может быть, в тот именно момент, когда он ожидал себе награды за свою прошлую жизнь. Когда его поразила гром — небо было над ним ясно и чисто; он не ждал ниоткуда опасности, был доверчив и спокоен, как малое дитя. Он служил «добру», он вёл чистую и честную жизнь немецкого профессора, искал идеалов у греческих философов и новейших музыкантов, изучал Шопенгауэра, вёл дружбу с Вагнером и во имя всего этого, — что почиталось им тогда самым важным и нужным — отказывался от действительной жизни. Впоследствии он говорит: «Кто уже не жертвовал собой ради своего доброго имени!» и «ни за что нам так дорого не приходится расплачиваться, как за наши добродетели». Но в то время, когда он ради этих добродетелей, ради этого «доброго имени» ушёл из жизни, чтобы в тиши своего кабинета создавать новые теории (так понимал он тогда служение добру) — он не знал, не подозревал даже, что придётся так неслыханно расплачиваться за свою добросовестность. Если бы он мог хоть на минуту представить себе, что ждёт его в будущем, он, конечно, сильно призадумался бы над выбором пути. Но кто может угадать свою судьбу? Кто не вверяется в молодости своим учителям и идеалам? Ницше только более беззаветно, более полно, более последовательно верил в непогрешимость своих принципов. Он

всё задушил в себе, все природные инстинкты и запросы, которые обыкновенно умеют заставить подчинить себе и самые добродетельные души. Но у Ницше середины не было. Он учился и учил — всему, что считал важным, нужным, серьёзным, и за этим делом совсем позабыл о жизни. Даже при появлении первых грозных признаков болезни Ницше не обеспокоился. Он наскоро глотал разного рода лекарства, чтобы не возиться с сложным лечением и не отрываться от своего служения, и продолжал свои философские и профессорские занятия до тех пор, пока недуг не свалил его окончательно. Только тогда понял, наконец, Ницше, что добродетель не защитит его от всего. Но уже было «слишком поздно». Прошлого изменить нельзя было. Нельзя было «вернуть тот камень, который называется «то было». Осталось одно: размышлять — искать в прошлом оправдания, объяснения ужасного настоящего. А каково было это настоящее можно судить хотя бы по тому, что единственным облегчением для него служили мечтания о самоубийстве. На «три четверти слепой», подверженный вечным мучительнейшим и отвратительным припадкам, обречённый безжалостной болезнью на полное уединение, всегда на волосок от смерти и безумия — так прожил Ницше 15 лет, в течение которых были написаны им его главные сочинения. «Я с трудом принимаю жизнь, — говорит он, — я надеюсь, что скоро наступит конец моим страданиям». Но конец наступил не скоро. 15 лет и для менее ужасной болезни — срок слишком длинный. Кто столько страдал и чья «вина» была в только превеличенном доверии к нравственным идеалам, тот вправе сказать своё слово, тот вправе требовать, чтоб его внимательно выслушали и не узнавали о нём от других.

Но возвратимся к гр. Толстому. Я сказал, что читающая публика — даже та, которая видела в гр. Толстом талант далеко не менее значительный, чем в Диккенсе или Тургеневе, — ждала от него наиболее серьёзной оппозиции ницшеанству. Как ни холоден ей казался гр. Толстой — его называют человеком со стальной душой (это, между прочим, любопытно — гр. Толстой, учащий умиляться над детскими рассказами — и стальная душа!) — но в нём видели естественного защитника «добра» и противника Ницше. Особенно ввиду его публицистических статей, в которых он с такой решительностью высказался сторонником буквально-го понимания Евангелия. Правда, поклонники Диккенса и Тургенева далеко не всегда сочувственно относились к проповеди

гр. Толстого. Они находили, что он слишком уже усердствует, требуя, чтобы образованные люди пахали землю и одевались по-мужицки. Но когда пришлось выбирать между доведенной до крайности, но привычной нравственностью и совершенно уничтожающим обычную мораль учением — все склонились на сторону первой. Сомнения ни у кого не было: граф Толстой и Ницше взаимно исключают друг друга. Более того, даже оба учителя считали один другого своей противоположностью. Ницше, говоря о «толстовском сострадании», полагает, что указывает на нечто, ему самому совершенно чуждое. О гр. Толстом и говорить нечего: его последнее произведение, как было уже указано, имеет своей единственной целью отповедь нищезанятию.

Но так ли это? Действительно ли эти два замечательных современных писателя столь чужды друг другу? Вероятно, самая возможность такого вопроса покажется странной, тем более отрицательный ответ на него. Поэтому, ничего не предвещая, займёмся первым значительным публицистическим произведением гр. Толстого, которое введёт нас к его книге «Что такое искусство», а вместе с тем и к главным вопросам, занимавшим Ницше.

III

«Мысли, вызванные переписью в Москве» появились сравнительно скоро после «Анны Карениной» — промежуток между ними равняется 3–4 годам. В сущности, он ещё короче, если принять во внимание признание гр. Толстого, что за эту статью он несколько раз принимался ещё раньше, но ему никак не удавалось довести её до конца. Очевидно, что перепись не была причиной перемены мировоззрения гр. Толстого. Всё, что нужно было для нового душевного переворота, уже давно было подготовлено у гр. Толстого. Перепись, как это часто происходит в жизни людей, была только внешним поводом, которого гр. Толстой уже, по-видимому, давно искал. Его душевное равновесие — то, что он у Лёвина называл «жизнью, осмысленной добром», уже давно ушло в область воспоминаний. Может быть, «Анна Каренина» была только попыткой восстановить прошлое, и в то время, когда гр. Толстой с такой силой убеждения рассказывал нам, что «добро» с Лёвиным и за Лёвина, что Лёвин, как плуг, врезался в землю и делает самое лучшее, настоящее дело, — может быть, в это время сам гр. Толстой уже жил только воспоминаниями прошлого, к которым его тем насто-

ятельнее тянуло, чем очевиднее и мучительнее было сознание, что казавшаяся когда-то столь прочной почва начинает уходить из-под его ног. Быть может, этим особенным настроением и объясняется его плохо скрытая радость по поводу возможности опозорить и уничтожить Анну. Он уже тогда сознавал, что теряет свои права, что хозяйство, семья, ограниченное вмешательство в жизнь крестьян, фрондирование против либерализма и газет, «отрицательное» служение добру, — словом, всё то, что наполняло когда-то собою лёвинское существование — уже не удовлетворяет его, что снова явилась какая-то пустота, что снова недостаёт той прочности, которая давала ему право смотреть на всех людей сверху вниз и считать, что за него — Бог и против всех его врагов — Бог. «Анна Каренина» написана, по-видимому, *ex post facto*. Оттого-то в этом романе столько осторожной справедливости и преувеличенной внимательности ко всем действующим лицам анти-лёвинского направления. Никого из них, в конце концов, автор не пощадит, но именно вследствие этого все они описываются с их лучших сторон. Они — и добрые, и умные, и честные, и красивые. Гр. Толстой не торопится выставлять напоказ их слабости. Лишь изредка, мелкими штрихами, почти вставочными замечаниями он намекает читателю, в чём негодность этих людей. Но удар направлен верной и сильной рукой. Никто из них не спасётся: лёвинское восторжествоует.

Но не надолго. «Анна Каренина» — последняя попытка, сделанная гр. Толстым, чтоб удержаться на прежней почве. Все старые интересы уже для него не существовали; он ушёл уже далеко за пределы лёвинских радостей и огорчений. Когда он приехал в Москву перед переписью, это уже, по-видимому, не был тот гр. Толстой, который недавно напечатал в «Русском Вестнике» большой роман с мировоззрением столь ясным и определённым. Это был хотя уже и не молодой человек — ему уже было тогда за 50 лет, хотя и прославленный всеми писатель, в котором прежде всего поражали твёрдость и смелость убеждений, но на самом деле это был человек, весь преисполненный сомнений, знавший только одно — что то, что у него есть — ничего уже не стоит, и что нужно искать другого. Как ни странно звучит это, но ужасы, открытые им при обхождении московских приютов для бездомных и бедных людей, были для него почти счастливой находкой. «И прежде, — рассказывает он, — чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все радости

роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома». Такое противоположение роскоши и обеспеченности собственной жизни с нуждой, ляпинской нуждой — действительно может и должно вызвать в человеке, никогда не открывавшем глаз своих на несчастье ближнего, сильную реакцию. Но гр. Толстой не был новичком в этом деле. Автор «Войны и Мира», так мастерски нарисовавший нам все ужасы 12-го года, видевший пред собой тысячи смертей и убийств, самые страшные и отвратительные проявления человеческой жестокости и низости и вышедший твердым из жизненных испытаний, не мог смутиться зрелищем нужды, подобно тому индийскому юноше, который, впервые вырвавшись из дворца, увидел больного, старика и нищего. Я не хочу этим сказать, что с наступлением зрелого возраста человек научается или должен научиться равнодушно относиться к царствующему на земле злу. Нет, наоборот даже, взрослый человек может ближе, чем юноша, принимать к сердцу несчастья людей. Но тем загадочнее становятся для нас переживания гр. Толстого по поводу виденного им в Ляпинском доме. Сначала, передаёт он, его до такой степени поразила обстановка и условия жизни обитателей ночлежных домов, что он не мог говорить об этом без слёз и злобы: «Я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя». Но потом все ему, по его словам, стали говорить, что он волнуется так не потому, что виденное им зрелище столь ужасно, а лишь потому, что он сам очень «добрый и хороший человек». И эти разговоры убедили его. «Я, — говорит он, — охотно поверил этому. И не успел оглянуться, как вместо чувства упрёка и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства своей добродетелью и желание высказать людям». Впоследствии гр. Толстой понял, что его друзья обманывают его путём ложных и ловких софизмов, и что он не только не добродетельный и хороший, но очень дурной человек, и это привело его к проповеди отречения от цивилизованной жизни. Рождается любопытный вопрос, что было бы, если бы,

рассматривая свою жизнь, гр. Толстой убедился, что его друзья правы, и что он точно хороший и добродетельный, а не дурной и виноватый человек? Положение обитателей ночлежных домов от этого не стало бы легче. По-прежнему на морозе толпились бы наполовину замёрзшие люди, едва прикрытые разодранными лохмотьями, по-прежнему городовые водили бы в участки Христовых нищих, по-прежнему ночные обходы забирали бы кучи несчастных и отвратительных проституток — всё осталось бы по-прежнему, кроме одного: у гр. Толстого совесть была бы спокойна. И тогда можно было бы быть довольным своей добродетелью и показывать её людям, как это случилось с гр. Толстым, когда на время его друзьям удалось убедить его?

Этот вопрос гораздо важнее, нежели может показаться с первого раза. В нём объяснение того, какое дело занимает гр. Толстого, чего ищет он в московских трущобах. Очевидно — не в нищих ляпинского дома дело, а в нём самом, в гр. Толстом. Придя к этим беднякам, он ищет не дать им, а взять у них, он спрашивает не за них, а за себя. Он мог бы уйти от них, закрыть глаза, забыть их, как он это делал в прежние годы, когда сталкивался с несчастием, — но на этот раз нищие ему нужны. Не все, а некоторые и даже не эти, ляпинские, а другие. И от тех, которые ему не нужны — он уйдёт, отвернётся, как отворачивался когда-то от Сони, от Вареньки, от Анны, с которыми не был непосредственно лично связан — и придёт к тем, с которыми можно жить, которые не отнимают жизненную бодрость, а увеличивают её, которые помогают врезаться, как плуг, в землю и дают возможность радостно чувствовать, что «добро» опять на твоей стороне. Словом, — те бедные, которые могут сделать то, что сделали для Лёвина хозяйство, пчелиная охота, семья и т. д. Что касается остальных, этих самых городских нищих, из-за которых, по-видимому, весь сыр-бор загорелся — их гр. Толстой покинет: им помочь нельзя. «У безнадежно больного не должно желать быть врачом». Эти слова, как помнит читатель, принадлежат Ницше. Я уже приводил их рядом с другим его изречением, почти тождественным: «Что слабо — то должно ещё толкнуть». Последнее правило читатель, пожалуй, ещё не решится применить к гр. Толстому. Но первое? Ему тоже ужасались. А оно резюмирует собою отношение гр. Толстого к ляпинским и рожновским беднякам.

Сейчас после переписи гр. Толстой, записав всех наиболее нуждающихся, решил заняться благотворительностью. Те из

его знакомых, которые обещали ему своё содействие, денег ему не дали. Тем не менее, он своих бедных обходил некоторое время и кой-кому помог. В один из своих обходов он наткнулся на голодную, не евшую два дня женщину. На его вопрос, кто она, ему ответили: «Была распутная, теперь никто не берёт, так и неоткуда взять». Я не стану передавать подробностей этой ужасной сцены. Женщина точно ничего не ела два дня. Но вот заключение рассказа гр. Толстого: «Я дал ей рубль и помню, что очень был рад, что другие видели это». Неужели это правда? Неужели правда, что гр. Толстой «очень был рад, что другие видели это?» Не верить нельзя: дальше он, словно желая рассеять могущие возникнуть по этому поводу сомнения, говорит: «Мне так было приятно давать, что я, не разбирая нужно или не нужно давать, дал и старушке».

Я не хочу уличать гр. Толстого или обвинять его. Автор «Войны и Мира», автор «Мыслей, вызванных переписью» — выше всяких обличений и обвинений.

Но тем важнее нам понять смысл и значение его проповеди. Эти откровенные признания — для нас путеводные знаки, которые поведут нас вслед за гр. Толстым к тому источнику, откуда он черпал своё пророческое вдохновение. В том, что ему было приятно, «так приятно» давать милостыню даже и в тот момент, когда на его глазах разыгралась ужаснейшая драма — кто не почувствует её в этих немногих словах: «Была распутная, теперь никто не берёт, так и неоткуда взять» — в том, что друзья его могли хоть на время соображениями о чувствительности его души отвлечь его внимание от сцен московских ночлежных домов, кроется странная загадка, а может быть, и разгадка толстовской натуры. Уже теперь, не дочитывая статьи о переписи, можно предсказать, чем она окончится. Человек, которому так нужно быть добродетельным — так или иначе окажется правым перед собою и пред всеми. Добро уже придёт к нему, он приведёт его к себе, хотя бы для этого пришлось лишиться добра всех людей.

Так и вышло, как помнят все, читавшие «Мысли, вызванные переписью». Гр. Толстой бросил московских бедных, потому что, как он подробно объясняет, им нельзя было помочь. Он кой-кому из них давал деньги — и раз, и два, и три раза, и давал столько, сколько, по их собственным расчётам, нужно было, чтобы стать на ноги — но всё это ни к чему не повело. Ни одного из них гр. Толстому не удалось спасти. Тогда он уехал в свою дерев-

ню, чтоб на досуге разобраться в своих впечатлениях и найти выход из тяжёлого положения. А положение, действительно, было ужасно. Слова, которыми определял гр. Толстой своё настроение: «Так нельзя жить», показывают нам, если его рассказы о московской бедноте и не произвели на нас должного впечатления, как он сам отнёсся к обнажившимся перед ним язвам столичной жизни. И точно, как может такой человек, как гр. Толстой жить, если наряду с ним существуют обитатели ночлежных домов? Хорошо тем, которые никогда не открывали глаза на эти ужасы. Но как быть тому, кто их видел, кто их не может забыть, не хочет, не должен забыть? Можно их помнить?

IV

Ответом на эти вопросы послужат для нас результаты, к которым пришел в своей деревне гр. Толстой. Их знают все, и подробно говорить о них не приходится. Он решил, что вся беда наша в том, что мы, интеллигентные и достаточные люди, собирающиеся помогать несчастным беднякам из ляпинского и иных домов, — что мы сами недостаточно нравственны для такого дела, и что прежде чем исцелять других, нам нужно исцелиться самим. Деньгами ничего сделать нельзя, ибо эти бедняки не в деньгах нуждаются. Их нужно научить работать, ценить и любить труд — тот труд, которым приобретаются средства к существованию. А как же можем мы научить их этому, когда мы сами ничего не делаем? Следовательно, прежде всего нужно нам о самих себе подумать, исправиться, тогда всё остальное само собою устроится. Тогда мы можем словом и делом учить, а не только словом, которому наши дела противоречат; и затем, мы, отказавшись от права на чужой труд, этим самым перестанем отнимать у других те средства, которые им необходимы, а нам служат для роскоши. И гр. Толстой, сбросивши с себя европейское платье, оделся по-мужицки, стал сам для себя топить печь, убирать комнату, пахать, сеять и т. д. «И тут-то, придя к этому сознанию и практическому выводу, — говорит он, — я был вознаграждён вполне за то, что не заробел перед выводами разума и пошёл туда, куда они вели меня».

В чём же оказалась награда? В том, что ляпинские жители стали иными, что их судьба стала менее ужасной? Нет, само собою разумеется; ляпинцы забыты: лучше стал сам гр. Толстой.

Оказалось, объясняет он, что, «отдав на физический труд восемь часов, ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжёлых усилиях борьбы со скукой, у меня оставалось ещё 8 часов...», оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает её достоинство, но поощряет её». И далее он говорит: «Чем напряжённее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым земледельческому труду, тем больше я приобретал наслаждений, знаний и приходил тем более в тесное и любовное общение с людьми и тем более получал счастья жизни». Несмотря на предостережение врачей, физический труд не только не повредил здоровью, но наоборот, тем «сильнее, бодрее, веселее и добрее» себя чувствовал гр. Толстой, чем больше он работал. И сверх всего этого — что самое главное — он испытал полнейший душевный мир, успокоение совести, которое он в красноречивых и патетических словах обещает всякому, кто последует его примеру: «Ты почувствуешь радость жить свободно с возможностью добра, ты пробьёшь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт для тебя».

Таков результат, к которому пришёл в деревне гр. Толстой. У нашего брата, учившегося человека, есть возможность хорошо жить, спастись от скуки, стать бодрым, весёлым, радостным и сверх того, опять привлечь на свою сторону добро, успокоить свою совесть, сделаться очень хорошими, нравственными и счастливыми людьми. Гр. Толстой узнал это у нищих ляпинского дома, которым он шёл помочь. Не правда ли, эти нищие были для него счастливой находкой, тем именно, в чем он более всего нуждался в ту эпоху, когда он уже не мог быть более бодрым, весёлым, счастливым и нравственным на тот лёвинский манер, когда пчелиная охота, семья и всё прочее так высоко ценилось? Такова уже, видно, судьба бедняков: всегда они служили и служат средством для богатых. Если нельзя или не нужно брать у них материальные блага, то они доставляют «нравственные» утешения. Оказывается, что не только не «нельзя жить» нам ввиду ляпинской нужды, но можно жить отлично — радостно, весело, бодро, совсем так, как в своё время жил Лёвин или Пьер Безухов после женитьбы. Даже более того, теперь, после переписи, явился один совершенно новый и чрезвычайно важный ресурс в жизни — сознание того, что все эти радости не просто радости, как бывает у других, и даже не добро, как было у Лёвина, а подвиг во имя и ради страдающих ближних.

Если и прежде можно было негодовать против всех, кто не по-лёвински жил, если прежде можно было ради «добра» уничтожать Вронского, Кознышева, Анну Каренину — то теперь, нечего и говорить, это право переходит в обязанность, в святую обязанность, можно было бы сказать, если бы скрывающееся под словом «уничтожение» содержание не так плохо ладилось с нашими представлениями о святости. Гр. Толстой, по-видимому, только ждал того момента, когда, наконец, можно будет прямо и открыто начать проповедовать — не в романах, где нападать приходится осторожно, с соблюдением всех условий, поставляемых художественной задачей, а в специальных статьях, не имеющих никаких посторонних проповеди целей.

Теперь только он нашёл себе дело, настоящее дело.

Правда, гр. Толстой утверждает, что он нашёл способ исцелить человечество от всех общественных недугов. По его словам, он напал, наконец, на архимедов рычаг. Стоит только надавить — и весь старый мир перевернётся, все бедствия исчезнут, и люди станут счастливыми. Но об этой стороне дела он говорит очень мало. Это для него само собой разумеется, так само собою разумеется, что он даже не допускает искренних сомнений в годности средств, рекомендуемых им для спасения человечества. На все возможные возражения он отвечает либо сказками о человеке, испугавшем своей настойчивостью духа моря, либо общими рассуждениями вроде следующего: «Это будет тогда (т. е. все люди тогда начнут жить по принципам гр. Толстого), что будет очень очень скоро, когда люди нашего круга, а за ними всё огромное большинство людей, не будут считать, что стыдно идти в личных сапогах в гости, а не стыдно идти в калошах мимо людей, у которых нет никакой обуви; что стыдно не знать по-французски или последней новости, а не стыдно есть хлеб и не знать, как его ставят; что стыдно не иметь крахмальной рубашки и чистого платья, а не стыдно ходить в чистом платье, выказывая тем свою праздность; что стыдно иметь грязные руки, а не стыдно не иметь руки с мозолями, Всё это будет тогда, когда этого будет требовать общественное мнение»... «Будет очень скоро!» Скоро, конечно, понятие условное: может, через 50, может, через 100 лет, — а может, и раньше. Пока с того времени, как была окончена статья «Мысли, вызванные переписью», прошло 20 лет. Несмотря на то, что гр. Толстой всё это время неустанно проповедовал одно и то же, обстоятельства не только не изменились к лучшему, но стали ещё ужаснее.

Если бы он теперь, как 20 лет тому назад, вздумал навестить московские ночлежные дома — он, конечно, не нашёл бы там своих старых знакомых. О них позаботилось время, сметающее с земли и радости, и несчастья, но он нашёл бы там новых людей, таких же ужасных, как и те, которых он когда-то видел. И этих людей теперь гораздо больше, чем было прежде. За 20 лет десятки, может быть, сотни тысяч прошли через рожновские дома, жили там, мучились там, совершали преступления, умирали — в то время как гр. Толстой совершенствовался нравственно в Ясной Поляне и готовил громовые статьи по адресу тех интеллигентов, которых его пример не соблазнял к подражанию. Что же это значит? Как может гр. Толстой говорить себе и убеждать нас, что он вполне удовлетворён за то, что не заработал перед выводами разума? О каком удовлетворении может быть речь, пока существуют ляпинцы, да ещё в таком подавляющем количестве? Пророческое «будет очень скоро» оказалось неправдой, значит! И какой обидной неправдой!

Тут только сказывается то представляющееся на первый взгляд парадоксальным обстоятельство, что проповедь, как и многие другие виды духовной деятельности человека, не имеет и не ищет цели вне самой себя. По-видимому, гр. Толстой не только словом, но и примером учит людей помогать ближним. Но оказывается, что ни слово, ни дело к ближним отношения не имеют. Статьи и книги одна лучше другой, в смысле силы и полноты выражения, непрерывно напоминают читателям о беспокойном мыслителе Ясной Поляны; гр. Толстой всё больше и больше укрепляется в своём убеждении, что он открыл новый путь, несомненно ведущий — и скоро — к всеобщему счастью, но счастье так же далеко, как и прежде, а горе, то ужасное горе, о котором так мастерски рассказал нам знаменитый художник, осталось всё тем же и даже стало ужаснее. И он «удовлетворён»? И он уже забыл своё «нельзя жить» только потому, что пашет и пишет хорошие книжки, что ему снова удалось переманить на свою сторону «добро»? Ему «так приятно давать», он считает это дело даванья столь важным, что за ним можно забыть грозное «так нельзя жить» и даже выступать с суровыми, уничтожающими обличениями против всех тех, кто не видит возможности выхода по указываемому им пути?! В «Мыслях, вызванных переписью» обличитель сравнительно ещё не так заметен. Гр. Толстой, вновь почувствовав приятство добра, считает себя ещё слишком

богатым, чтоб сердиться и негодовать. Он как будто бы надеется лаской и добрыми словами повести за собой людей. Но люди, конечно, не пошли за ним. И по мере того, как уходило время и «это будет скоро» затягивалось, счастливые времена не наступали, пророчество не сбывалось, — раздражение гр. Толстого всё росло. Явилось неизбежное «кто виноват»? Кто виноват, что простое и ясное учение гр. Толстого не осуществляется? Виноваты — люди и только, конечно, люди, — ибо кто же другой, кроме людей, ответит, кому можно будет вменить в вину, на кого можно напасть, кого упрекать? Таково уже свойство нравственности. Она не может существовать без своей противоположности — безнравственности. Добру нужно зло как объект мщения, а добрым людям — злые люди, которых можно призвать к суду, хотя бы к воображаемому суду совести.

Этим и объясняется странная симпатия гр. Толстого к кантовской «критике практического разума». Последователь Евангелия, ученик Христа заявляет, что критика практического разума «содержит в себе сущности нравственного учения». Уже одно происхождение «критики» отнимает у истинного христианина право называться кантианцем. «Критика практического разума» является только пристройкой к «критике чистого разума». Кант нашёл синтетические суждения *a priori* и признал их источником наших знаний, условием существования науки. Таким способом, как он сам объясняет в своих *prolegomena*, он задержал скептицизм Юма, устанавливавший невозможность какой бы то ни было науки. Прав или неправ был Кант, разрешивши таким образом юмовскую задачу, но решение показалось ему до того важным, всеобъемлющим, что он, не затрудняясь, применил его к вопросам нравственной философии.

В опытных науках нас смущало понятие о причинности, и мы склонны были признать его незаконным детищем опыта. Кант доказал его законное происхождение, отнёс его к синтетическим априорным суждениям, т. е. к таким, которые предшествуют опыту, обуславливают собою опыт. Категорический императив построен по образу и подобию категории причинности и только потому, что для полноты системы ему должно было быть так построенным.

Действительные противоречия в области нравственной жизни для Канта уже не существовали. Пред ним стояло неоконченное здание метафизики, и его задача состояла лишь в том, чтобы,

не изменяя раз задуманного и наполовину выполненного плана, докончить начатое. И явились категорический императив, постулат свободы воли и т. д. Все эти столь роковые для нас вопросы имели для Канта лишь значение строительного материала. У него были незаделанные места в здании, и ему нужны были метафизические затычки: он не задумывался над тем, насколько то или иное решение близко к действительности, а смотрел лишь, в каком соответствии находится оно с критикой чистого разума — подтверждает ли оно её или нарушает архитектурную гармонию логического построения. И, конечно, своей цели он достиг. Логическое соответствие между частями здания ничего не оставляет желать: оно вполне кантовское. Но тем поразительнее отношение гр. Толстого к критике практического разума. Что общего между категорическим императивом или принципом возмездия, провозглашённым Кантом, и евангельским учением? Если немецкие профессора благоговеют пред нравственным учением Канта, если они восхищаются его «благородной защитой долга» — это понятно. Им больше всего нравится то обстоятельство, что у Канта этика по прочности и точности своих выводов приравнена к математике. Но гр. Толстой? Как мог он примириться с учением, где принципом наказания выставляется не милосердие, а справедливость («гордое слово справедливость», как выражался он ещё в «Войне и Мире»), где говорится, что наказывать нужно не затем, чтобы оградить общество от опасности, и даже не затем, чтобы исправить преступника, а потому, что преступление совершено. Для Канта возможность подменить в данном случае слово «затем» словом «потому» было настоящей и очень важной победой: *ad maiorem gloriam* критики чистого разума, интересы которой для её автора, естественно, казались самыми высшими. Но гр. Толстой говорит, что критика чистого разума никуда не годится, что она «только потакает царствующему злу». Что же привлекло его к критике практического разума? Едва ли ему пришлось по сердцу учение Канта о сострадании. Как известно, Кант отвергал сострадание на том «основании», что оно только увеличивает количество страдания, прибавляя к горю страдающего ещё горе страдающего. Все эти практические выводы, которые так подходили Канту, так мало гармонируют с запросами гр. Толстого, по словам которого — «всё благо людей только в отвержении от себя и служении другим!» Что же подвигло его, так скупое расточающего похвалы ученым — осо-

бенно знаменитым — возносить «критику практического разума»? Очевидно одно: категорический императив, обязанность служить добру, как добру, то самое, что когда-то Лёвин после мучительных сомнений отверг как антижизненный, ложный принцип. Теперь же для гр. Толстого этот принцип дороже всего. «Служить добру» — для него это не только бремя, а облегчение от бремени. И сверх того, это даёт ему, помимо мнимых обязанностей, ещё право требовать от других людей, чтобы они делали то, что он делает, чтобы они жили так, как он живёт. Это даёт ему счастливую возможность выступить с проповедью, открывает ему новые горизонты и перспективы, в которых он теперь более, чем когда бы то ни было, нуждается, после того как «Война и Мир» и «Анна Каренина» заключили собой иной период его существования, когда были другие горизонты и перспективы. И долг, чистый кантовский долг в той своей форме, которая не допускает никаких сомнений о том, что «можно» и чего «нельзя» делать, ложится в основание учения гр. Толстого, того самого гр. Толстого, который ещё недавно так мало верил в разум и требовал от людей, чтобы они не меняли легкомысленно пути своих отцов и вверялись не соображениям ума, воображающего, что он может перекроить мир, а непосредственному инстинкту, дающему возможность «врезаться, как плуг в землю».

V

Быть может, читателю покажутся несправедливыми и ненужными сличения нового учения гр. Толстого с его прежним мировоззрением. Кто старое помянет — тому глаз вон. И затем, гр. Толстой так торжественно отрёкся от своего прошлого, что укорять его в противоречии и непоследовательности уже совсем излишне. Он ведь сам признаётся, что был дурным. Чего же ещё? Но прежде всего, я менее кого бы то ни было хочу укорять гр. Толстого. Он был, есть и навсегда останется «великим писателем земли русской». Если я заглядываю в его прошлое, то вовсе не затем, чтобы уличать его, а единственно с тем, чтобы лучше разъяснить себе смысл и значение его учения. И затем, меня не столько поражает разница между новым и прежним гр. Толстым, сколько единство и последовательность в развитии его философии. Правда, есть и существенные противоречия, и их забывать не следует. Гр. Толстой времени «Войны и Мира» и «Анны Каре-

ниной», во всяком случае, является для нас важным свидетелем, которого не только можно, но должно, обязательно выслушать. В особенности ввиду того обстоятельства, что, как было показано выше, этот замечательный человек упорно и постоянно в течение всей своей жизни высказывал убеждение, что вне «добра» — нет спасения. Все изменения его философии никогда не выходили за пределы «жизни в добре»: перемены происходили только в представлении о том, в чём это добро и что нужно делать, чтобы иметь право считать его на своей стороне. Оттого-то в гр. Толстом всегда замечалась такая чисто сектантская нетерпимость в отношении к чужим мнениям и к отличному от его собственного образу жизни. Таково уже свойство добра. Кто не за него, тот против него. И всякий человек, признавший суверенность добра, принужден уже делить своих ближних на хороших и дурных, т. е. на друзей и врагов своих. Правда, гр. Толстой выражает постоянную готовность простить человека и перевести его из разряда дурных в разряд хороших, — но под непременною условием раскаяния. «Признайся, что ты был неправ, был дурным, живи по-моему, и тогда я назову тебя хорошим». Иного способа примирения нет. Более того — без этого условия объявляется вражда навеки. Вражда, конечно, не в обыкновенном смысле. Гр. Толстой не ударит, не подведёт под несчастье своего противника. Наоборот даже, он подставит другую щёку, когда его ударят в одну, он примет и обиду, и горе, и тем больше будет доволен, чем больше нужно будет отдать. Одного только не отдаст — своего права на добро. При всяком посягательстве на это право гр. Толстой проявляет такую же жадность, какую проявляет у Шекспира Генрих V, когда дело идёт о славе. Оба они — и гр. Толстой, и Генрих V — считают, что в данном случае жадность — не порок и не только не может быть поставлена в упрёк, а прямо-таки должна быть вменена в достоинство человеку. С английского короля, конечно, спрашивать нечего, но когда гр. Толстой проявляет ту же готовность защищать своё благо, что и средневековый рыцарь, — это наводит уже на серьёзные размышления. Та нравственность, то добро, которое, как мы всегда думали, стоит вне обычного соревнования эгоизма, оказывается вдруг таким же человеческим, неотчуждаемым благом, как и все другие чисто языческие блага, как слава, власть, богатство и т. д. Из-за добра тоже возможна неумолимая борьба — только при посредстве иного оружия. Вся жизнь гр. Толстого служит тому примером; вся проповедь его

служит тому доказательством. В последнем своём произведении — «Что такое искусство», гр. Толстой, уже семидесятилетний старик, вступил в борьбу за своё право с целым поколением людей. И как эта борьба вдохновляет его! Книжка эта, вся задача которой сводится к тому, чтобы заявить людям: вы безнравственны, а я нравственен, т. е. высшее благо за мной, а не за вами — написана с мастерством, подобного которому вы не найдёте в современной не только русской, но и европейской литературе. Несмотря на внешне спокойный, почти эпический тон, страстное возбуждение и негодование, направлявшие собой перо гр. Толстого, слишком чувствуются даже и теми, которые не очень интересуются источником творчества этого замечательного писателя. Бранных слов, в которых обыкновенно выражается человеческий гнев, там нет и в помине. Гр. Толстой избегает даже открытой насмешки. Всё его оружие — это тонкая ирония и затем несколько на вид безобидных эпитетов — «дурной», «безнравственный», «испорченный» и т. д. Слово «наглость» употреблено всего один раз — в применении к Ницше. Казалось бы, таким путём ничего и сделать нельзя, особенно в наше время, когда слово «безнравственный», по-видимому, уже давно потеряло свою прежнюю остроту, а противоположное ему слово «добродетельный», которым гр. Толстой не боится пользоваться для обозначения своего и своих, считается почти синонимом комического. И тем не менее, что может сделать талант! «Что такое искусство» является образцом полемической литературы. Сильнее сказать то, что сказал гр. Толстой — невозможно даже и вне тех условий христианской самообороны, в которые он добровольно себя поставил. Я глубоко убеждён, что огромное большинство читателей, особенно русских — как бы далеки они ни были от идеалов гр. Толстого и как бы мало они ни были расположены отказываться от своих преимуществ привилегированного класса, с истинным наслаждением прочли его новое произведение и даже нашли, что «в сущности» он совершенно прав. Правда, и на этот раз, как и до сих пор было, дело «добра» несколько не подвинулось вперёд. Даже, если угодно, ещё ухудшилось. Ибо между многочисленными читателями толстовской литературы, наслаждающимися художественным талантом великого мастера, есть и такие, которые на самом деле хотят у него научиться чему-нибудь и исправить свою жизнь. И на совесть этих людей слова гр. Толстого упадают свинцом, их и без того невесёлая

жизнь совершенно отравляется грозными нападками неумолимого судьи. «Да, мы едим, пьём, одеваемся и всё берем у мужиков, которым ничего взамен не возвращаем», — повторяют они слова учителя, но сделать, конечно, ничего не могут. Они идут в деревню, куда зовет их гр. Толстой и возвращаются оттуда с новым запасом укоров совести, ибо там они ничего или почти ничего не могли сделать по той программе, которая была выработана для них в «Ясной Поляне». От них требовалось, чтоб они жили среди мужиков и по-крестьянски; они, конечно, не могли этого сделать и ушли назад в город больные, обессиленные, измученные, с тяжким сознанием громадности числящегося за ними долга. Те, которых имел или, по крайней мере, должен был иметь в виду опрокинуть своим рычагом гр. Толстой, и ухом не вели, читая его произведения. Наоборот, они с удовольствием перечитывали его новые статьи как образцы душеспасительной литературы, как они читали Евангелие, пророков. Я знал одного фабриканта миллионера, отдавшего свои деньги на проценты и считавшего себя толстовцем. И этот случай — не исключение. Наоборот, он типично выражает собой отношение читающей публики к проповеди. Да что говорить! Ведь гр. Толстой не от своего имени проповедует. Он лишь повторяет на современном языке то, чему тысячи лет тому назад учили пророки и апостолы; но, если европейские народы, столько столетий подряд признававшие Библию своей священной книгой, не исполнили её заветов, то как гр. Толстой мог серьёзно надеяться, что его слово сделает больше, чем слово его учителей! Очевидно, его обещание «это будет скоро», как и весь пафос его проповеди, относился не к действительной борьбе со злом и неправдой, а к собственным, чисто личным задачам. Ему нужно было не вне себя сделать что-нибудь, не другим помочь, а себе найти дело, удовлетворение, которого он не нашёл в своих художественных трудах. «Война и мир», носившая печать полной законченности и умиротворения, сменилась «Анной Карениной», «Анна Каренина», в свою очередь казавшаяся произведением цельного и самоудовлетворённого духа, сменилась проповедью нравственности. Конец ли это? Кто может предсказать? Может быть, у гр. Толстого ещё раз хватит сил и мужества сжечь то, чему он теперь поклоняется и возвести новое слово? Теперь он отвергает свою прежнюю художественную деятельность, которой он с такой искренностью и страстностью предавался когда-то. Она ни для чего не нужна,

она ничего не сделала. Но проповедь, на которую он теперь рассчитывает, сделает ли больше? И какой критерий человеческой деятельности выставит гр. Толстой тогда? Теперь он отвергает всё искусство, и своё, и не своё на том основании, что оно ненужно массе. Но если и проповедь его не облегчает положения масс, то, следовательно, и её нужно отвергнуть?

Но в отношении к проповеди гр. Толстой, по-видимому, не признаёт — теперь, по крайней мере — того масштаба, которым он измеряет достоинство всех других родов литературы. Проповедь хороша сама по себе, независимо от результатов, ею приносимых. Есть возможность и всё искусство сделать в этом смысле ценным. Для этого нужно ему поставить те же задачи, которые ставляет себе проповедь. Художник, который хочет иметь право называться этим почётным именем, должен в своих произведениях подчиняться двум условиям: во-первых, писать так, чтобы все решительно могли понимать его, а во-вторых — говорить не обо всём, что его занимает, а лишь о таких вещах, которые возбуждают в людях добрые чувства. С этой точки зрения гр. Толстой осуждает всё современное искусство, начиная с собственных произведений и кончая Шекспиром, Данте, Гёте — не говоря уже о менее видных и особенно более новых писателях, для осуждения которых он в своём кратком репертуаре добродетельно-бранных слов не находит достаточно сильных выражений. Исключение он делает лишь для немногих произведений немногих писателей. В этом ограниченном списке достойных учителей слова любопытно видеть имя Достоевского — того самого Достоевского, которого и Ницше называл своим учителем. Собственно говоря, Достоевский не удовлетворяет основному условию, предъявляемому гр. Толстым к писателям. Мужики его не поймут, ибо он для них настолько же учён, как и Шекспир. По-видимому, гр. Толстой считает, что зато Достоевский более полно, чем какой бы то ни было другой писатель, удовлетворяет второму условию: он учит добру. В этом отношении гр. Толстой вполне прав. Достоевский точно во всех своих сочинениях (исключая отчасти особенно рекомендуемых гр. Толстым «Записок из мёртвого дома») никогда не забывает учить добру. Но чем же тогда он мог снискать себе расположение Фридриха Ницше, для которого добро было приблизительно тем же, чем дьявол для гётевской Гретхен? Понять за что Ницше и гр. Толстой ценили Достоевского — значит найти ключ к объяснению их столь про-

тивоположных на вид философий. Поэтому мы остановимся на одном из самых характерных и наиболее прославившихся произведений Достоевского, — на «Преступлении и наказании».

VI

Основная идея «Преступления и наказания» почти уже высказана в самом названии романа. Сущность её в том, что нарушения «правила» ни в каком случае дозволено быть не может — даже тогда, когда человек решительно не понимает, для какой надобности это правило придумано.

Раскольников, бедный студент, решается убить уже почти неживую старуху, чтобы добыть средства для устройства своей жизни. Раскольников человек даровитый, талантливый, полный жизни и желания найти себе соответствующую своим силам деятельность. Все мечтания его по душе и самому Достоевскому, у которого не было, как у гр. Толстого, убеждения, что всякого рода интеллигентный труд — безнравственен. Наоборот, если бы случайно Раскольников получил дозволенными законом способами нужные ему для занятия средства, Достоевский благословил бы все его планы. Но эти средства дозволенным способом достать невозможно. Нужно выбирать одно из двух: или отказаться от своего будущего и погубить жизнь за чёрной бессмысленной работой, в борьбе из-за куска насущного хлеба, или открыть себе путь к настоящей (по мнению Достоевского, «настоящей») жизни при посредстве преступления, убийства. Половина романа наполнена размышлениями Раскольникова, борющегося против живущего в нём представления о недозволённости убийства. С одной стороны, внутренний голос говорит ему: нельзя убивать; с другой стороны, тысячи соображений являются к нему в доказательство того, что этого голоса слушать не надо, что убить — можно. В отыскании этих соображений Раскольников (т. е. Достоевский) неисчерпаем — и это называется «психологией преступника», этому роман обязан своей славой. Основная, впрочем, тема одна: убийство бесчисленное количество раз совершалось людьми — и безнаказанно. Всё дело не в том, что «нельзя» убивать, размышляет Раскольников, — но что это «нельзя» связывает только маленьких, слабых людей. Большие же и сильные люди не боятся этого формального препятствия и, когда оно задерживает их в намеченных целях, — сметают его с пути. Пример — Наполе-

он. В таком духе написана была Раскольниковым и статья для журнала. Приблизительно эти же соображения заставляют его решиться и на убийство. Я не знаю, нужно ли говорить, что Раскольников — фантастический убийца, и что при его настроениях совершить убийство — дело невозможное. Мне кажется, что и сам Достоевский не стал бы этого отрицать. И в этом именно весь интерес романа. Настоящий убийца и те способы, которыми он преодолевает заповедь «не убий» — Достоевского совсем не занимали. Оттого-то и жертва для Раскольникова подобрана такая: полуживая старуха, со дня на день готовящаяся отдать Богу душу. Это именно и нужно было Достоевскому. Он стремился поставить своего героя в такое положение, при котором его преступление будет преступлением только с формальной стороны. Мне кажется, что, если б он мог, не запутывая слишком романа, так сделать, чтобы Раскольников ударил топором старуху уже после того, как она умерла раньше естественной смертью, он бы это сделал — и потом всё-таки заставил бы Раскольникова угрызаться, отдать себя в руки правосудия, пойти в каторгу и т. д. Пред Достоевским вопрос стал так: кто прав, кто лучше — те ли, которые (как он сам, Достоевский) держатся правила, смысл которого им непонятен, или те, которые по тем или иным побуждениям осмеливаются нарушать это правило. Ответом и является вторая часть «Преступления и наказания», в которой Раскольников смиряется — и не в силу того, что ему жаль своей жертвы (жертва, обе жертвы не играют никакой роли в романе и для Достоевского, как и для Раскольникова, имеют только внешнее значение преграды, черты, дальше которой человек не должен идти), а потому, что он постиг, что нельзя преступать правило. Чтоб привести Раскольникова к этому сознанию, Достоевский придумывает для него самые ужасные пытки.

Жестокий талант! Но откуда пришла к нему эта жестокость? Разве Достоевский иначе создан, чем все люди? Здесь та же история, что и у гр. Толстого, только на иной манер. Раскольникова (фантастического, никогда не существовавшего убийцу — повторяю это) нужно заставить покориться правилу, чтоб из покорности правилу создать свою добродетель. Достоевский, как и гр. Толстой, готов подставить щёку ближнему, — но добродетели своей, своего права на добродетель — не только не уступит, но отнимет у ближнего. И в борьбе за это право — он неутомим. Даже наоборот — чем больше он может проявить жестокости,

чем сильнее может наказать он свою жертву, тем полнее его торжество. Но и этого ему мало; он не довольствуется тем, что мучает жертву — он вырывает у неё признание в её неправоте, в её виновности, преступности. Приведу несколько слов, в которых выльется весь Достоевский: «Странно было видеть, как в этой маленькой комнатке сошлись за чтением вечной книги убийца и распутница». Убийца — Раскольников, распутница — Соня. Зачем понадобилось Достоевскому, не выпускавшему из рук Евангелия — клеймить этими ужасными именами изголодавшегося студента и содержавшую своим позором семью Соню? Это он в Евангелии прочёл? Так он читал Евангелие? Нет, ему нужно было иное! Ему нужны были для себя особые правила и привилегии, ему, подпольному человеку, не умевшему не посторониться при встрече с офицером и тщетно надеявшемуся превзойти в величии Наполеона — и он ставил себе в заслугу свою готовность не преступать правило, свою нравственность, которую он придумал в долгие, бессонные ночи, проведённые в борьбе с соблазнами недоступной ему силы. В результате — «психология», две психологии даже. С одной стороны, первая часть «Преступления и наказания», в которой Раскольников заодно со своим творцом признаёт свою неспособность к преступлению — слабостью; с другой стороны — вторая часть, где Достоевский уже один, без Раскольникова находит для себя в готовности остаться нравственным новый ореол, источник славы и гордости.

И тогда только, когда сомнения в своей слабости побеждены, Достоевский начинает торжествовать победу правила над Раскольниковым как свою собственную победу. И чем больше унижен, опозорен, уничтожен Раскольников, — тем яснее на душе у Достоевского; под конец, когда Раскольников, уже лишённый всех, не только юридических, но и нравственных прав состояния, кается в совершённом, Достоевский дарует ему душевный мир под условием, что все оставшиеся ему дни он проведёт в каторге как кающийся, не смеющий надеяться на земное счастье «убийца», в обществе «распутницы» Сони, тоже искупающей добрыми делами несчастье своей молодости. «Жестокий талант» теперь понятен. Понятно теперь, почему и Ницше, и гр. Толстой пришли поклониться ему. Ницше близки были подпольные рассуждения первой части «Преступления и наказания». Он и сам, с тех пор как заболел безнадежно, мог видеть мир и людей только из своего подполья и размышлениями о силе заменять настоя-

щую силу. Он простил охотно Достоевскому вторую часть — наказание за первую — преступление. Гр. Толстой — наоборот: за вторую часть — простил первую. Ибо та «психология», которая грозит подорвать обязательность правила, наверное, не по душе гр. Толстому. Это всё «испорченность», «развратность», это всё «пакостные идеи», придуманные «праздной культурной толпой» (все слова гр. Толстого — если собрать их вместе, едва ли от них повеет смирением, да и отдельно взятые, особенно в том количестве, которое допускает в последней своей книге гр. Толстой — они достаточно говорят о «кротости» знаменитого писателя) — за это похвалить нельзя. Но Раскольников был наказан, у Раскольникова было исторгнуто признание вины, прощение было дано под условием жизни в добре — разве этого недостаточно, чтоб заслужить право на звание народного учителя?

Здесь я позволю себе небольшое отступление, которое, ввиду задачи этой книги, вероятно, окажется не лишним. Я хочу сравнить миросозерцание Шекспира, того самого Шекспира, которого не признаёт гр. Толстой, с миросозерцанием Достоевского. Сравнить не во всем объёме — а только отчасти: в их понимании зла и преступления. У Достоевского есть Раскольников, у Шекспира — Макбет. Сюжет — тождественен. И оба писателя — христиане. Только Шекспир никогда не ставит на вид этого обстоятельства, Достоевский же сделал из этого своё литературное *profession de foi*.

Больше всего поражает при сравнении «Макбета» с «Преступлением и наказанием» отношение их авторов к жертвам убийства. У Достоевского обе убитые женщины не играют никакой роли. Он бы, подчёркиваем это обстоятельство, оставил их жить или воскресил бы, если бы мог, до такой степени факт их смерти безразличен для него. Они введены в роман лишь потому, что нужен же хоть какой-нибудь объект для Раскольникова. Но смысл и значение преступления, с точки зрения Достоевского, не в том, какое зло сделал Раскольников своим жертвам, а в том, какое зло сделал он своей душе. В этом отношении и автор, и герой «Преступления и наказания» думают и чувствуют совершенно одинаково. Достоевский почти не говорит ни о старухе, ни о девушке — хотя говорит о многом, что никакого отношения к роману не имеет, хотя часто является многословным до утомительности; Раскольников, в свою очередь, почти не вспоминает об убитых им, хотя фантазия его непрерывно рисует ему самые раз-

нообразные ужасы. У Шекспира мы видим совсем иное. Макбет действительно только и размышляет, что о своей душе. Для него весь ужас совершаемых им поступков сводится только к личной ответственности. Он «погубил навеки свою душу», он «не может молиться», не может произнести аминь, когда другие говорят «Господи, помилуй» — и это мучительное душевное состояние застигает пред ним весь остальной мир, всех людей. Он так глубоко погрузился в кровь, что ему всё равно не стоит возвращаться. Он чувствует, что отрезан от всего мира и видит во всех людях, живых и мёртвых, только врагов, ищущих погубить его душу. Но Шекспир смотрит на Макбета своими собственными глазами. Он ни на минуту не забывает, что не только в душе и её погибели дело, когда речь идёт о зле и преступлении. Наоборот, его столько же занимают те несчастья, которые Макбет приносит окружающим его людям, сколько и психология преступной души. Вот в каких словах Росс описывает положение Шотландии:

Страна несчастная! Увы, ей страшно
И оглянуться на себя! Для нас
Она не мать, а тёмная могила.
Улыбки там не встретишь на лице;
На стон и вопль, звучащий без умолку,
Никто не обращает там вниманья,
Печаль слывёт за пошрое безумство.
При мрачном звуке похоронной меди
Едва ль кто вздумает спросить: по ком?
И люди мрут, с болезнью не знакомясь,
Как вянет сорванный цветок.

Шекспир далее изображает ужасную сцену избиения семьи Макдуфа. Какое страшное впечатление производит на читателя немой ужас Макдуфа, узнавшего о гибели своих малюток и жены. Кто не помнит обращённых к Макдуфу слов Малькольма:

Творец небесный!
Макдуф, не надвигай на брови шляпу!

И затем, восклицание Макдуфа о Макбете: «Злодей бездетен». Ничего подобного у Достоевского мы не видим. Преступление его заинтересовало, могло заинтересовать только с одной стороны: со стороны своего значения для души преступника. Он подошёл к своему Раскольникову с прямо противоположной стороны, чем Шекспир к Макбету. Его занимал вопрос, как мо-

гут, как смеют делать другие люди то, чего он, Достоевский, не может, не смеет делать. Оттого-то он и убийцу подобрал такого, который учится в университете, пишет статьи, не знает сегодня, что будет есть и будет ли вообще есть завтра. С этим — он знал заранее — психология справится в желательном смысле. Т. е. убийство наверное раздавит и уничтожит его: его ли это дело? А вывод получится такой: в подчинении правилу высший смысл жизни; Достоевский правилу подчиняется, следовательно — смысл за ним. У Шекспира нет и следа таких настроений. Для него преступление становится преступлением только в силу того зла, которое оно причиняет людям — Дункану, Макдуфу, его детям, всей Шотландии. У него нет и не может быть вопроса о том, хорошо ли самому стать убийцей и не прибавит ли к его собственному душевному величию то обстоятельство, что он убьёт кого-нибудь. Более, если бы он и убедился в том, что убийство может прибавить что-нибудь, даже очень много к величию его души, — он всё-таки не убил бы. Если бы размышления выяснили ему, что такого правила — «не убий» — нет или что это правило для ничтожных и маленьких людей, а для больших, великих людей есть другое правило: убивай — он всё-таки не убил бы. Ибо кроме расчётов, выгод своей души у него есть ещё понимание счастья и несчастья других людей — малюток Макдуфа, короля Дункана и т. д. Если бы пред ним «убий» восстало бы в том всеоружии грозной повелительности, в каком пред Макбетом и Раскольниковым встало «не убий» — он всё-таки не убил бы. Для Достоевского, очевидно, шекспировское отношение к преступлению было совершенно недоступным. У него весь вопрос сводился лишь к тому, какое правило лучше вооружено — «убий» или «не убий». Но и в этом вопросе он не был беспристрастным судьёй. Он всю силу своего огромного таланта направил на поддержание престижа «не убий» главным образом потому, что он всё равно не мог быть Наполеоном. Оттого-то он и душил своего Раскольникова, оттого-то он его отпускает только под условием признания своей «вины». У Шекспира нет и следа такого отношения к Макбету. Едва ли нужно говорить, что красок у Шекспира для изображения мук угрызения совести у преступника много больше, чем у Достоевского, что в коротеньком «Макбете» полнее и ярче обрисованы настроения и терзания героя, чем в длинном «Преступлении и наказании». Вспомните хоть эти слова несчастного убийцы:

По сводам замка
Неумолкаемо носился вопль:
«Гламис зарезал сон, зато отныне
Не будет спать его убийца, Кавдор,
Не будет спать его убийца, Макбет».

От этого и подобных восклицаний Макбета веет истинно средневековым ужасом пред неизбежностью страшного суда. Шекспир понимал и умел обрисовывать самые ужасные трагические настроения, не делая ни малейшего напряжения, не прибегая к искусственным приёмам, не выматывая душу у читателя вечным повторением мучительных длиннот. И тем не менее, какая разница между Шекспиром и Достоевским и здесь, в изображении психологии убийцы! Шекспир не только не ищет «погубить» душу Макбета, не только не хочет раздавить, уничтожить своим красноречием и без того уже уничтоженного и раздавленного человека, но наоборот, он весь, целиком на стороне Макбета — и без всяких условий, ограничений и требований, без которых Достоевский и все почитатели «добра» ни за что не отпустят своих преступников. И Шекспир ни на минуту не боится, что таким отношением он потакает убийце или поощряет убийство. И ещё менее думает о том, что его нравственное величие потеряет, если за Макбетом останутся человеческие права, если преступник будет сметь думать о себе, о своём спасении, а не о покаянии; у Шекспира, по мере развития трагедии, Макбет не только не уступает, не склоняет повинной головы пред добродетельным автором, но наоборот, всё более и более ожесточается с того момента, когда он понял или вообразил себе, что внутренний судья ни за что не простит ему «одного удара!» И это ожесточение не вызывает у Шекспира вражды к непокорному; оно кажется поэту естественной, справедливой реакцией против безмерной притязательности «категорического императива», осмеливающегося предавать вечной анафеме человека за «один удар». Для Шекспира Макбет не перестаёт быть человеком, ближним после рокового события, и, несмотря на то, что Шотландия обращена озверевшим королём в тёмную могилу, несмотря на то, что тысячи жертв вопиют к небу о справедливости, Шекспир не считает ни нужным, ни возможным заставить самого Макбета признать постигшую его кару законной. Чем безжалостнее преследуют Макбета фантастические призраки, тем энергичнее он готовится к отпору, и пока у него есть физические силы — он не смиряется. Нужно ли говорить о том, насколько психологически Шекспир

правее Достоевского? Ибо как бы ужасно ни было прошлое человека, как бы он ни раскаивался в своих делах — никогда он в глубине своей души не признает, не может признать себя справедливо отверженным людьми и Богом. Конечно, пред непобедимыми внутренними и внешними препятствиями каждый, в конце концов, смиряется. Но никто не признаёт, и не признает, что вечное осуждение справедливо, что все права его потеряны, что он зависит от милости и великодушия других людей, соглашающихся на известных условиях даровать ему прощение. Гигантская борьба Макбета с живыми и мёртвыми врагами служит этому бесподобной иллюстрацией. Не всякий будет смел, как Макбет, не всякий решится до конца поступать и говорить по-своему, от своего имени. Обыкновенный, средний человек при подобных обстоятельствах сдаётся: он признаёт, что травля категорического императива законна, что он действительно заслуживает какого угодно вечного осуждения. Но это — притворство, ложь, посредством которой он ищет избежать именно той участи, которой он на словах признаёт себя достойным. В выборе сюжета сказались черты обоих художников. Шекспир заинтересовался непокорившимся и действительно ужасным злодеем. Достоевский — покорившимся и безобиднейшим убийцей. Шекспир искал оправдать человека, Достоевский — обвинить. Кто из них истинный христианин? И до какой степени по основной своей идее (я уже не говорю о выполнении) «Преступление и наказание» уступает «Макбету»? Меж этими двумя художественными произведениями, помимо степени дарования их творцов, существенная разница в основных задачах. У Достоевского — на первый план выдвигается проповедь. У Шекспира — вопрос чисто философского характера. Достоевскому нужно внушить людям, что можно служить «добру» и «злу», что он сам служит «добру» и потому — очень достойный человек, а другие служат «злу» и — недостойные люди. У Шекспира вопрос о личном достоинстве в стороне. Перед ним — ужасное явление: преступление. Ужасное вдвойне: по тем несчастьям, которые оно приносит людям, и по вечному проклятию, которому подвергается преступник.

Ему нужно понять, объяснить себе, что это значит: действительно ли наши представления о сущности преступной души правильны? Он не хочет великодушно поступить со своим злодеем — даровать ему прощение в доказательство собственной нравственной высоты. Он добивается найти право Макбета и потому

не отнимает у него сил для борьбы. Прочитавши «Преступление и наказание», вы остаётесь под мучительным впечатлением, что выслушали проповедь безгрешного праведника, направленную против многогрешного мытаря. Прочитавши «Макбета» — в котором автора как будто и нет — вы выносите убеждение, что нет такой силы, которая могла, хотела бы уничтожить человека. Говоря словами Евангелия: «Нет воли вашего Отца небесного, чтобы погиб один из малых сих».

Более подробно останавливаться на Шекспире и Достоевском программа настоящей работы не позволяет. Но и приведённого, кажется, достаточно для того, чтобы выяснить, в чём существенная разница между философией и проповедью, и кому нужна проповедь, кому философия.

VII

У нас для обозначения происшедшей в творчестве гр. Толстого перемены говорят, что он от художественной деятельности перешёл к философии; об этом очень жалеют, ибо предполагается, что гр. Толстой, будучи отличным, гениальным художником, как мыслитель, философ — очень плох. Доказательством и, по-видимому, очень решительным в пользу такого предположения, является послесловие к «Войне и миру». Оно написано неясно, запутано. Гр. Толстой всё топчется на одном месте среди не имеющих значения общих фраз. Это, пожалуй, справедливо. Послесловие написано не хорошо. Но «Война и мир»? Разве «Война и мир» не истинно философское произведение, написанное художником? Разве послесловие не есть только плохо сделанный план к чудесному зданию? Каким же образом могло случиться, что архитектор, проявивший столько искусства при возведении постройки, не мог нарисовать её плана? По-видимому, не в архитекторе дело, а в самой задаче. По-видимому, послесловие плохо не от того, что гр. Толстой не владеет циркулем и линейкой, а от того, что циркуль и линейка непригодны для выполнения задачи. Отняв у себя право пользоваться красками, гр. Толстой этим самым обрёл себя на непроизводительную работу, ибо смысл всей философии «Войны и мира» в том заключается, что человеческая жизнь находится за пределами, поставляемыми нам всею совокупностью имеющихся в языке отвлеченных слов. Несомненно, что попытка гр. Толстого пояснить «Войну и мир»

посредством добавочных рассуждений могла только испортить дело. Он первой частью своего эпилога закончил всё, что имел сказать: вся его философия в четырёх томах этого романа вылилась с такой ясностью и полнотой, дальше которых он не мог уже идти. Князь Андрей, Пьер, Наташа, старик Болконский, княжна Марья, Ростовы, Берг, Долохов, Каратаев, Кутузов, — всех не перечить — разве они нам не рассказали всё, что видел и как видел в жизни гр. Толстой? Разве пребывание в плену Пьера, старческая прозорливость Кутузова, трагическая смерть князя Андрея, огорчения и радости Наташи, резиньяция Каратаева, стойкость русских солдат, непритязательное, тихое геройство безвестных офицеров, массовое бегство жителей из городов — разве всё это, с такой законченностью и яркостью изображённое гр. Толстым, не включает в себя «вопросы» о свободе воли, о Боге, нравственности, историческом законе? Не только включает, само собою разумеется, но более того, обо всём этом нельзя иначе говорить, как в форме художественного произведения. Всякий другой способ обязательно поведёт к тому, образцом чего является послесловие. В особенности у художника, т. е. у человека, который знает, как много нужно сказать, и чувствует, как мало говорят линии. Поэтому он пытается ещё раз и ещё раз на различные лады повторить уже сказанное, ничего, конечно, выяснить не может и приводит нас к сознанию, что он — не философ. Но это, конечно, наше заблуждение. Гр. Толстой в «Войне и мире» философ в лучшем и благороднейшем смысле этого слова, ибо он говорит о жизни, изображает жизнь со всех наиболее загадочных и таинственных сторон её. Если послесловие ему не удалось — то только потому, что он искал недостижимого. Любой критик написал бы лучшее заключение к «Войне и миру», чем сам гр. Толстой, ибо критик, не чувствуя так, как сам художник, всей ширины задачи, держался бы в пределах обычных представлений и потому достиг бы известной, очень относительной логической закруглённости и законченности, которая удовлетворила бы читателей. Но это значило бы, что критик — не лучший, а худший философ, чем гр. Толстой, что он не чувствует потребности передать всё своё впечатление от жизни и потому превосходно владеет циркулем и линейкой, доволен своей работой и удовлетворяет своих читателей. Сказать про гр. Толстого, что он — не философ, значит отнять у философии одного из виднейших её деятелей. Наоборот, философия должна считаться с гр. Толстым

как с крупной величиной, хотя его произведения и не имеют формы трактатов и не примыкают к какой-нибудь из существующих школ. Как было уже указано выше, вся творческая деятельность его была вызвана потребностью понять жизнь, т. е. той именно потребностью, которая вызвала к существованию философию. Правда, он не касается некоторых теоретических вопросов, которые мы привыкли встречать у профессиональных философов. Он не говорит о пространстве и времени, монизме и дуализме, о теории познания вообще. Но не этим определяется право называться философом. Все эти вопросы должны быть выделены в самостоятельные дисциплины, служащие лишь основанием для философии. Собственно же философия должна начинаться там, где возникают вопросы о месте и назначении человека в мире, о его правах и роли во вселенной и т. д., т. е. именно те вопросы, которым посвящена «Война и мир».

«Война и мир» — истинно философское произведение; в нём граф Толстой допрашивает природу за каждого человека, в нём преобладает ещё гомеровская или шекспировская «наивность», т. е. нежелание воздавать людям за добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую жизнь нужно искать выше, вне нас. Только в отношении к Наполеону не выдержан общий тон, характеризующий «Войну и мир». Наполеон для гр. Толстого с начала до конца остаётся врагом — и врагом, нравственно виноватым. И не за те бедствия, которые он причинил России и Европе: это ему прощается. Гр. Толстого возмущает только притязательность императора, его уверенность, что он в течение 15 лет делал историю. «Человеческое достоинство говорит мне, что всякий из нас если не больше, то никак не меньше человек, чем всякий Наполеон», следовательно, не может быть, чтоб он вершил судьбы народов. Он сам — «только ничтожнейшее орудие в руках судьбы». Ещё с Соней гр. Толстой не может примириться за её постылое житьё: в то время постылые, ни себе, ни другим не нужные люди смущали его бессмысленным своим существованием. Но затем — он никого не хочет и не находит нужным винить. Когда Наташа говорит Пьеру, что желала бы только пережить всё сначала (смерть князя Андрея) и «больше ничего», Пьер с жаром перебивает её: «Неправда, неправда, закричал он. Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже». Так тогда разрешал гр. Толстой навязчивые вопросы совести, эти вечные «виноват», которые загораживали путь его лучшим героям. «Я жив и хочу

жить» — было тогда ответом, пред которым смирялись даже такие щекотливые затруднения, как то, что Наташа была невестой друга Пьера, и что этот друг умер всего несколько месяцев назад на её руках. И всякий, кто жил, как бы он ни жил, даже безнравственно, пошло, грубо, не вызывал негодования гр. Толстого. К Бергу, Друбецкому, князю Василию он относится с добродушной, весёлой насмешкой; к злодею Долохову и крепостнику старику Болконскому — с уважением; к Элен — как к *superbe animal* и почти так же к её, во всём на неё похожему, брату Анатолю. Всё живое живёт по-своему и имеет право на жизнь. Одни — лучше; другие — хуже; одни — маленькие; другие — крупные люди; но клеймить, отлучать от Бога никого не нужно. Спорить нужно только с Наполеонами, желающими отнять у нас человеческое достоинство, да с Сонями, так неудачно втирающимися своими безрезультатными добродетелями в богатую и полную жизнь. С какой любовью описывает гр. Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, где бы столь безнадежно средний человек был изображён в столь поэтических красках. Даже разбитый о физиономию мужика камень кольца не роняет его в глазах гр. Толстого. Если бы теперь Николай попался под руку гр. Толстому! Какое бы грозное обвинение произнёс бы он! Я уже не говорю о Пьере и кн. Андрее. Они, вдобавок к тому, что сами не работают, ещё умствуют и считают себя высшими людьми! Несомненно, гр. Толстому необходимо было отречься от своих прежних произведений, особенно от «Войны и мира». Вопрос лишь в том — возможно ли это, достаточно ли признать свою прежнюю философию, прежнюю жизнь дурной, чтоб навсегда порвать с ней. Целая жизнь не опровергается несколькими книжками. Гр. Толстому никогда не развязаться с своим прошлым, так блестяще воплотившемся в его двух больших романах. Оно навсегда будет свидетельствовать — и самым уничтожающим образом — против него. Что бы ни стал он проповедовать теперь о «нравственном просвете» — он всегда будет слышать в устах других свой собственный голос, тридцать лет тому назад так искренне и страстно восклицавший: «Я не виноват, что жив и хочу жить, и что вы теперь, взяв уже от жизни всё то хорошее, о чём вы так красноречиво рассказали нам в «Войне и мире», ищите чего-то другого, может быть, тоже хорошего и для вас необходимого, но мне чуждого, ненужного и непонятного. «Пустоцвет» Соня — вы её забыли?»

Иначе говоря, если бы 30 лет тому назад гр. Толстому предъявили его собственные последние произведения — он бы тогда от них отрёкся, как теперь отрёкся от «Войны и мира», хотя и в то время он всегда хлопотал о том, чтобы жить «в добре». Отречение — против отречения. Которое из них принять? И более всего он отказался бы от своего «Что такое искусство»!

Мы уже сказали, что в этой книге собственно искусству отведено второстепенное место. Это уже видно по началу её.

Гр. Толстой рассказывает о том, как ему однажды пришлось присутствовать на репетиции плохой оперы. По этому поводу он делает расчёты, сколько должна была стоить эта нелепая затея. Оказывается, что очень дорого. Затем он сообщает, что капельмейстер грубо бранил хористов и статистов, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы делали сладострастные движения. Огромные расходы на постановку дурных произведений искусства и безобразное отношение старших к младшим, бесправным сотрудникам по общему делу, возводятся гр. Толстым в правило и предъявляются к искусству вообще, как первый тяжёлый и серьёзный обвинительный пункт. Что могут ответить на это составители драм и симфоний? «Хорошо было бы, если бы художники всё своё дело делали сами, а то им всем нужна помощь рабочих не только для производства искусства, но и для их большей частью роскошного существования, и, так или иначе, они получают её или в виде платы от богатых людей, или в виде субсидий от правительства, которые миллионами даются им на театры, консерватории, академии. Деньги же эти собираются с народа, который никогда не пользуется теми эстетическими наслаждениями, которые даёт искусство». В этом исходная точка зрения гр. Толстого: искусство стоит огромных денег, деньги собираются с народа, народ же благами, приносимыми искусством, не пользуется. Сверх того, под видом искусства нам преподносят множество всяких глупостей и гадостей, подобных той опере, на репетиции которой присутствовал гр. Толстой; во имя искусства одни люди оскорбляют человеческое достоинство других. Возникает вопрос: действительно ли искусство такое важное дело, чтобы из-за него приносить подобные жертвы? Не лучше ли совсем отказаться от искусства, а затрачиваемые на него силы и средства употребить на что-нибудь другое — хотя бы на народное образование, о котором так мало заботятся? Так поставлен вопрос гр. Толстым. Едва ли кто-нибудь из его читателей не угадал в са-

мом начале книжки ответ. Народ так дорого расплачивается за искусство и не пользуется им. Разве может быть сомнение в том, что такое положение вещей грубо, возмутительно, несправедливо? Богатые люди, у которых всё есть, идут к бедным и отнимают у них необходимые не только на образование, но на пропитание средства, чтоб устраивать театры, концерты, выставки. Разве во время голода в больших городах прекратились спектакли, разве богатые отказались от эстетических наслаждений, чтобы помочь несчастным ближним? В справедливости такого вопроса, по-видимому, не может быть сомнений. Любопытно, однако, иное обстоятельство. В русской литературе взгляд, подобный тому, который высказывает гр. Толстой — не новость. В шестидесятых годах так думали и чувствовали все, которые называли себя «мыслящими реалистами». Добролюбов во всех своих статьях только и говорил, что о необходимости всё забыть, всё забросить и сосредоточить силы общества и государства на поддержании погрязающего в нищете и невежестве народа. Нужно было разбить оковы крепостного права, нужно было дать крестьянам все те блага, которыми пользуется каждый из нас. Гр. Толстому, конечно, ещё памятно счастливое возбуждение этого бурного времени. После великого акта освобождения крестьян лучшим русским людям казалось, что для нас нет ничего невозможного, что в самое короткое время путём общественных реформ и литературной проповеди можно добиться уничтожения того обидного неравенства, которое господствовало у нас в старое время. Правда, этих надежд прямо не высказывали. Даже наоборот, многие демонстративно прикрывали свои упования грубыми названиями «положительной философии», «эгоизма» и т. д. Говорили, что нужно резать лягушек и заботиться только о личном счастье. Но под всем этим для глаз всякого беспристрастного человека ясна была великая и благородная задача молодёжи; она надеялась спасти отечество и возродить посредством России чуть ли не всё человечество. Вслед за безвременно скончавшимся Добролюбовым явился Писарев. В нём идеи предшествовавших писателей сказались в ещё более резкой форме. В своё дело спасения отечества он верил ещё более чем другие. Но слова для своих идей он подбирал ещё более грубые, ещё более скрывающие сущность его стремлений. И за ним вся молодёжь того времени стала повторять разные страшные слова отрицания и вместе с ним лелеять надежды на близость лучшего времени и мечтать о величии пред-

стоящих к исполнению задач. И тогда-то возник вопрос о значении искусства именно в той форме, в которой он представляется теперь гр. Толстым. Что делает искусство? — спросили они себя. Спасает народ от невежества? Кормит, поит, лечит? Развивает нравственно? Предохраняет от пьянства? — На все вопросы получился отрицательный ответ. Нет, искусство доставляет только «эстетическое наслаждение» богачам, которым и без того тепло и сытно живётся. А если так, чего же с ним церемониться? И в результате знаменитые статьи Писарева о Пушкине, в которых вся его поэзия признаётся никуда не годной и никому не нужной забавой пустого человека. Хорошо пишет — Некрасов. У него есть «еду ли ночью по улице тёмной»: это призывает к справедливости, к состраданию, к человечности. А «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери» и т. д. — это искусство ради искусства, народу ненужное и великим целям, поставленным себе молодым поколением, не только чуждое, но прямо враждебное. Даже первые произведения гр. Толстого Писарев похвалил только потому, что нашёл их полезными для общественных целей. Так поставили и разрешили вопрос об искусстве в 90-х годах молодые руководители молодого поколения. Нужно ли говорить, что их взгляды и их проповедь для историка русского общественного развития — одно из самых отрадных проявлений пробуждающейся мысли? Их юношеская честность, суровая на вид и стыдливая на самом деле горячность, их увлечение несбыточными надеждами, их детская и наивная вера во всемогущество печатного слова — до сих пор любовно привлекают к себе взоры даже тех, кто уже давно вырвался из власти их «убеждений» и «принципов». Но как странно нам теперь встретить в книге гр. Толстого рассуждения, так близко напоминающие нам нашу отдалённую юность, когда мы, вслед за своим учителем, Писаревым, полагали, что прежде всего нужно и важно разрешить вопрос о том, какое искусство полезно обществу, а потом лишь позволять себе признавать тех или иных поэтов и художников; когда мы нападали на Пушкина со всей пуританской энергией строго воспитанных в нравственности людей за то, что он воспевал в романах ручки и ножки хорошеньких барышень, размышлял о вечности в «Фаусте», писал никому не нужного «Бориса Годунова», отдавал столько внимания бездельнику Онегину и проливал слёзы над сентиментальной Татьяной, вместо того, чтобы звать людей к важному делу. И даже его дуэль мы ему ставили в упрёк, и даже поставленный

ему памятник вызвал в нас негодование. «За что?» — спрашивали мы, совсем как гр. Толстой. Разве он — мы не говорили, как гр. Толстой, «святой», это слово мы возбраняли себе употреблять, но мы именно его имели в виду, — разве он, говорили мы, полезный общественный деятель? Мы хотели, чтобы поставили памятник Некрасову за его любовь к народу, т. е. к униженным, оскорблённым, страдающим, Некрасову, за которым мы восторженно повторяли:

Уведи меня в стан погибающих
за великое дело любви!

Каково же было нам теперь встретить у гр. Толстого столь знакомый нам способ отношения к искусству и его представителям? Правда, гр. Толстой оказался смелее нас. Мы, например, Шекспира и Гёте не трогали. Собственно говоря, мы отлично тогда понимали, что эти писатели, с нашей точки зрения, никуда не годятся, ибо у них нет того непосредственного и горячего призыва о помощи народу, который одушевлял поэзию Некрасова. Но даже сам Писарев не осмеливался нападать на них, и мы предпочитали обходить их молчанием, даже позволяли себе читать их в смутной надежде, что когда-нибудь мы с ними справимся. Но если бы в то время появилась книга гр. Толстого «Что такое искусство?» и если бы в этой книге было поменьше добродетельных слов (такие слова в то время оскорбляли нашу стыдливость — мы делали добро исключительно потому, что нам это было «очень выгодно») — она была бы для нас настоящим откровением. Нам только и нужно было, что получить право отрицать всё искусство: и Рафаэля, и Бетховена, и Шекспира, и Данте — на том именно основании, что все они не считали себя призванными «воспеть страданья изумляющего терпеньем народа», говоря словами Некрасова, или, употребляя выражение гр. Толстого — выражать «религиозное сознание истинного христианства, сознание братства людей». Как тогда оскорбил нас гр. Толстой своей «Анной Карениной», т. е. своим Лёвиным, который, как только перестал думать о спасении России, человечества и т. д. — «как плуг, врезался в землю». Мы не могли простить гр. Толстому, что он сошёл с пути обличения общественных язв, за который его похвалил Писарев, и заговорил в своих романах о вопросах, к устройству народа никакого отношения не имеющих. «Война и мир», «Анна Каренина» были для нас «искусство для искусства», пленитель-

ным, захватывающим, но тем более раздражающим. Мы только жалели, что Писарева уже нет и что некому воздать гр. Толстому по достоинству за его грехи. Теперь гр. Толстой сам исполняет ту миссию, для которой мы ждали нового Писарева. Он причисляет свои романы к дурному искусству и мечтает о том, как бы создать новое искусство, которое служило бы народу и его нуждам. Каким же образом гр. Толстой вернулся к тем идеалам, от которых бежал в молодые годы? Писарев, воюющий с искусством ради искусства и уничтожающий Пушкина, нам понятен. В 27 лет естественно надеяться, что помехой к осуществлению великих идеалов служит преувеличенное преклонение людей перед эстетикой, и что несколькими статьями можно сразу подвинуть вперёд дело разрешения экономических и иных вопросов. Писареву казалось, что каждая статья его является событием в этом смысле, и проповедь не могла не вдохновлять его. Но гр. Толстой отлично знает, что его книжки ничего изменить не могут. Он сам говорит: «Я мало надеюсь, чтобы доводы, которые я привожу об извращении искусства и вкуса в нашем обществе, не только были приняты, но серьёзно обсуждены». И это в нём, конечно, не скромность говорит. Он на самом деле превосходно понимает, что никогда его «Кавказский пленник» или «Бог правду знает, да не скоро скажет» (только эти два рассказа из всего, что им написано, относит он к хорошему искусству) — не будут иметь для читателей того значения, которое имеют не только его большие романы — но даже «Смерть Ивана Ильича». Зачем же, для кого он пишет? Отчего он вместо «Что такое искусство?» не написал ещё двух-трёх сказок для народа по тем правилам, которые он выработал для талантливых художников? Очевидно, что и сам он обращается к тем или иным вопросам не потому, что разрешением их надеется быть полезным мужику, а потому, что не думать о них он не может. Рецепт художественного творчества составлен им не для себя, а для других...

У Ницше в *Also sprach Zarathustra* есть одно очень любопытное место. После своей беседы с калеками Заратустра обращается с проповедью к ученикам своим. Один из калек — горбатый — с удивлением прислушиваясь к новым словам, спрашивает учителя: «Отчего ты с учениками иначе говоришь, чем с нами? — Чему ж тут удивляться! — отвечает Заратустра, — с горбатыми по-горбато и говорить нужно. — Хорошо, — сказал горбатый, — и с учениками нужно разговаривать

по-школьному (*aus der Schule*). Но почему Заратустра иначе говорит к своим ученикам, чем к самому себе!»². От гр. Толстого таких речей не услышишь. Он никогда не позволит читателю проникнуть дальше того, что им официально возвещается как учение. Он предлагает нам считаться не с ним самим, а с его «школой». И Ницше умеет носить «маску» и даже слишком часто надевает её на себя. Но он никогда так бережно не охранял святыню своего творчества от посторонних взглядов, как это делает гр. Толстой, хотя у него, несомненно, было больше поводов скрываться, чем у гр. Толстого, хотя он временами высказывал убеждение, что вся задача писателя сводится к тому, чтоб украшать себя и жизнь. Несомненно, что не только Ницше, но и гр. Толстой с учениками разговаривает по-школьному, делаясь с ними только «выводами» и утаивая от них ту беспокойную и тяжёлую работу своей души, которая представляется ему исключительным делом «учителя». Оттого у него на первый план выдвигается чисто писаревская, т. е. юношеская уверенность, что «стоит только захотеть людям», и искусство для искусства будет заменено другим, хорошим искусством. Гр. Толстой знает, что кроется под этим «стоит людям захотеть». В этих словах говорит не писаревская молодая вера, а разочарование долго и упорно боровшегося старого человека, решившегося отказаться от неравной борьбы. Он эти слова не для себя придумал, а для учеников, для других, чтобы иметь возможность отвязаться от преследующих сомнений и перейти от ставшего невыносимо тяжёлым дела — философии, к более лёгкому, простому и утешительному занятию — проповеди.

Гр. Толстой кончает тем, с чего начал Писарев! Стоит только вдуматься в это загадочное явление, чтобы понять, зачем гр. Толстой в своих статьях громит нас и наше искусство. Он, как и все жившие до него люди, не умел сорвать покрывала с истины и должен забыть, во что бы то ни стало забыть роковую загадку жизни. Он написал «Войну и мир» и вышел на время победителем из искушавших его сомнений неверия. Все ужасы двенадцатого года представились ему законченной, полной смысла картиной. И движение людей с востока на запад и с запада на восток с сопровождавшими его массовыми убийствами, и жизнь самых различных людей от Каратаева и Анатоля — до Кутузова и князя Андрея, всё представилось ему единым и гармоническим целым, во всём он умел увидеть руку Провидения, пекущегося о слабом

и не знающем человеке. «Война и мир» — высший идеал душевного равновесия, до которого только может дойти человек.

Белинский в одном из своих частных писем говорил: «Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень развития, я и там попросил бы вас дать мне отчёт во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр. и пр. — иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчёт каждого из моих братьев по крови». В этих немногих и простых словах выражена сущность философской задачи. В них и программа «Войны и мира»: гр. Толстой требовал отчёта у судьбы насчёт каждого из своих братьев по крови. И — как ему казалось — получил полное удовлетворение. Во всех событиях он видел руку Творца и смирился, успокоился душою. Он никого не хотел учить, полагая, что все учатся у жизни, и каждый получает своё. Вот какими словами обрисовывает он в Пьере это настроение: «В Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей — это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своей жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало в нём насмешливую и кроткую улыбку». Но как было уже указано, гр. Толстой ненадолго сохранил душевное равновесие, а вместе с тем потерял возможность оставаться на высоте философии «Войны и мира». У него, как и у Достоевского, стала развиваться черта нетерпимости, сознание противоположности своих интересов не только с интересами Наполеона и Сони, но многих, очень многих людей, и поэтому он ухватился за нищих ляпинского дома и народ, чтобы их именем защищать «добро» от «зла». Поэтому-то в современном обществе, в людях своего круга он не видит ничего хорошего. Это хорошее ему не нужно, ему нужно дурное, чтобы было на кого и на что излить накопившееся в сердце ожесточение против таинственной и упорной неразрешимости мучительных жизненных вопросов. Несмотря на то, что он всегда ссылается на Евангелие, — христианского в его учении очень мало. Если приравнивать его к св. Писанию, то разве к Ветхому Завету, к проро-

кам, которых он напоминает характером своей проповеди и требовательностью. Он не хочет убедить людей — он их запугивает. «Делайте то, что я говорю вам, иначе вы будете безнравственными, развратными, испорченными существами». Я пробовал подчёркивать такого рода слова в книге гр. Толстого: целые страницы оказались испещрёнными карандашом. Очевидно, гр. Толстому нужно прежде всего обидеть, оскорбить «наше общество», выместить на ком-нибудь свою боль. И этого книга его достигает как нельзя лучше. Он хочет отнять у нас то, что нам больше всего нужно, и заставить принять нас то, что нам совсем не нужно. Средство же простое: то, что нам нужно — зло, и те, которые от этого не отказываются, — безнравственные, дурные люди; то, что нам не нужно — добро, и те, которые его не принимают — не принимают добра. А добро — Бог. Вот его подлинные слова из «Что такое искусство»: «Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, т. е. к Богу». Добро — есть Бог! То есть вне добра нет цели для человека.

Если бы гр. Толстой под добром и теперь, как в былые времена, понимал совокупность всего, чем живёт человек — такое определение могло бы иметь не только полемическое значение. Но и тогда оно было бы неправильным и никоим образом не могло бы быть принятым. Из Библии мы знаем, что Бог создал человека по своему образу и подобию, в Евангелии Бог называется нашим Небесным отцом. Но нигде в этих книгах не сказано, что добро — есть Бог. Гр. Толстой, однако, идёт ещё дальше. Он утверждает: «Религиозное сознание нашего времени в самом общем приложении его есть сознание того, что наше благо, и материальное, и духовное, и отдельное, и общее, и временное, и вечное, заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем меж собой». Цель этого определения — тоже чисто полемическая, ибо оно даёт право гр. Толстому клеймить всех тех, которые смеют думать, что, помимо братского единения есть ещё блага в жизни, и тем более тех, которые во взаимной любви видят не цель, а только следствие более тесного сближения людей. Гр. Толстому нужно такое определение, которое давало бы ему право требовать от людей любви к ближним как исполнения их долга. На этом построена вся книжка, это даёт повод ему негодовать, возмущаться, проповедовать — независимо от того, принесёт ли всё это хоть какую-нибудь пользу тем бедным, тому

народу, от имени которых говорится. Как у Достоевского убитые Раскольниковым женщины дают возможность автору душить убийцу, так и у гр. Толстого эксплуатируемый народ является на сцену не затем, чтобы получить облегчение, а чтобы помочь гр. Толстому обличать и громить. Гр. Толстой знает, что не может помочь бедным и обездоленным, и что в этом смысле его проповедь обязательно будет гласом вопиющего в пустыне. Если он всё-таки говорит — то лишь ради небольшой кучки слушающих его интеллигентов, которые тоже ничего или почти ничего не могут сделать, но у которых совесть при чтении толстовских статей всегда заводит свою унылую и бесцельную песню. Они, эти интеллигенты, читают Шекспира и Данте, слушают Бетховена и Вагнера, смотрят картины знаменитых художников. Им, конечно, это нужно — и как ещё нужно! Но гр. Толстой этого не желает. Ступайте к ближним и любите их. Это — ваш долг. В этом должно быть ваше высшее благо. Те же произведения искусства, которые вы читаете, не только не хороши, но прямо дурны и безнравственны. Ради них грабят народ, и они ничего о братской любви не говорят. Следовательно, их нужно бросить.

Такова основная мысль «Что такое искусство» и таковы, как мне представляется, действительные мотивы толстовской проповеди «добра». Я не стану вдаваться в подробный разбор разного рода соображений, которыми обставляет гр. Толстой свои основные положения. Это представляет чисто внешний, литературный интерес. Нас здесь занимает не то, о чем гр. Толстой говорит со своими учениками, а как он говорит с самим собой; для нас важны не формальные «обоснования» его «правоты», а тот источник, из которого вытекла его проповедь, его ожесточенная ненависть к культурным классам, к искусству, к науке. Повторяем, не вера и христианство привели гр. Толстого к его отрицанию; о вере — у него нигде нет ни слова. Бог умышленно подменяется добром, а добро — братской любовью людей. Такая вера не исключает, вообще говоря, совершенного атеизма, совершенного безверия и ведёт обязательно к стремлению уничтожать, душить, давить других людей во имя какого-либо принципа, который выставляется обязательным, хотя сам по себе он в большей или меньшей мере чужд и не нужен ни его защитнику, ни людям. Той любви и сострадания, о которых гр. Толстой всё время говорит, у него нет и не может быть, как мы видели из многочисленных цитат, взятых из его сочинений. Не потому, что он менее «хоро-

ший человек», чем все те, которые любят и сострадают в жизни и книгах, что он «чёрствый, бессердечный, стальной» человек, как говорят поклонники Диккенса и Тургенева. Несомненно, что у гр. Толстого не меньше любви к людям, чем у Диккенса или Тургенева, и что он умеет отозваться на несчастье ближнего. Разница лишь в том, что эти «отзывания» для него не конец, как для других, а начало. Разница лишь в том, что ему мало отозваться на нужду и бросить подачку бедному — хотя он и говорит о приятности давания и возводит милосердие в принцип. Но это происходит именно потому, что он слишком хорошо понимает, как мало может помочь давание, ищет большего — и не находит и пускается в проповедь, ради которой уничтожает Анну Каренину, Вронского, Кознышева, всю интеллигенцию, искусство, науку...

VIII

Здесь мы подходим к философии толстовского антипода — Ницше. И у него, как у гр. Толстого, началом душевного переворота было сознание того великого события, что «Бог умер», как выразался впоследствии сам Ницше, или что «Бог — есть добро», как говорит теперь гр. Толстой, уверяя, что в этом сущность христианства, и что в этом — религиозное сознание нашего времени. В том, что «Бог есть добро» и «Бог — умер» — выражения однозначные и что гр. Толстой и Ницше исходили из одной точки зрения могут служить доказательствами следующие слова Ницше: «Лучший способ начать день: проснувшись, подумать, нельзя ли в этот день порадовать чем-нибудь хоть одного человека. Если это станет заменой религиозных привычек, люди только выиграют от такой замены». И ещё: «В мире далеко недостаточно любви и доброты, чтобы дарить их еще фантастическим существам». Русскому читателю, наслышавшемуся о жестокости анархиста и имморалиста Ницше, приведённые слова покажутся странными в его устах. А между тем, в них объяснение всех его будущих настроений. Оба эти афоризма взяты из *Menschliches, Allzumenschliches* — той книги, в которой Ницше впервые отрешается от шопенгауэровской метафизики *<Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie Geister* («Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов») — полное название книги Ф. Ницше — *ред.*>. Теперь для него метафизика, определившая собой содержание его первого труда, *die Geburt*

der Tragödie <полное название — Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik («Рождение трагедии из духа музыки») — ред.>, — этого типического образца талантливой учёной causerie в пессимистическом стиле — «лишь наука, говорящая о вечных заблуждениях человека, но с таким видом, будто речь идёт о вечных истинах». У неё он уже не ищет объяснения. Он бежит от своих теорий эстетического истолкования трагедии — именно теперь, когда они, по-видимому, наиболее нужны, ибо трагедия, до сих пор происходившая в душах Прометея, Эдипа и других героев софокловых и эсхиловых драм — теперь происходит в его собственной душе. Он понимает уже, что великое несчастье не может быть оправдано тем, что о нём можно красиво и возвышенно рассказать; искусство, разукрашивающее человеческое горе, ему не годится. Он ищет другого убежища, где думает найти спасение от преследующих его ужасов. Он спешит к «добру», о котором он привык думать, что оно всемогуще, что оно может всё заменить, что оно — Бог, что оно — выше Бога, что человечество только выиграет, если взамен Бога всю свою любовь будет отдавать ближним. Идея — чисто толстовская, как видит читатель. Разница лишь в том, что Ницше в те годы был ещё не искущён и от всей души верил в спасение посредством добра — да ещё в том, что вся судьба Ницше зависела от того, что принесёт ему эта вера. Как помнит читатель, ужасная болезнь поставила его в необходимость отказаться не только от работы, но и от всякого общества. Всегда один, преследуемый мучительными припадками, он мог только думать и записывать свои мысли в виде коротеньких афоризмов. При таких исключительных обстоятельствах сила «добра» была подвергнута серьёзному испытанию. Может ли оно, как говорили философы, заменить человеку всю его жизнь? Ответом на это служит философия Ницше. Немецкие профессора, в том числе и А. Риль, произведения которого переведены на русский язык, хотя и признают, что «книги Ницше — не обыкновенные книги, а «переживания», «пережитые книги», — но они же отнимают у сочинений Ницше всё их значение и весь интерес, говоря, что они — только «переживания мыслителя», «мысли как переживания». Сам Ницше лучше знал источник своего творчества. Он говорил об основной, наиболее занимавшей его проблеме — проблеме нравственности, что она была его личным вопросом, что с ней была связана его судьба³. Очевидно, не о «мыслях как переживаниях» шла у него речь, хотя он и был философом, т. е. чело-

веком, умеющим отдавать себе отчёт в своих мыслях и чувствах. Его «переживания» связаны не с отвлечёнными, лежащими вне интересов других людей вопросами, а с тем, из чего складывается вся наша жизнь. Он был мучительно болен, был обречён на невольную бездеятельность и обязательное уединение: эти ли и связанные с ними обстоятельства составляют «переживания мыслителя»? Из чего же тогда жизнь? То, что произошло с Ницше, происходит с тысячами людей сплошь и рядом на наших глазах. И, может быть, все эти люди так же, как и Ницше, реагируют на свои несчастья — но молчат: не умеют или не смеют возвысить свой голос против установленных другими, не знавшими их страданий людьми принципов. Чего больше? Сам Ницше вначале до того был смущён безвыходностью и униженностью своего положения, что ничего другого не нашёлся сказать, как эту фразу: «Больной не имеет права быть пессимистом». Имеющий уши да слышит! Что значит это «не имеет права»? Кто отнял это право у больного? До чего ещё может дойти смирение и самоуничтожение? У человека отнято всё, человека обрекли на непрерывные пытки, и он ещё не имеет права жаловаться, проклинать, протестовать против слепой силы, неведомо за что казнящей его?!

И это сознание своей бесправности не оставляет Ницше до конца его жизни. Профессор Лихтенберг заключает свой рассказ о литературной деятельности Ницше следующим наивным замечанием: «... и когда пришло безумие положить конец его сознательной жизни, он пел победу. И эта ли судьба не прекрасна?» В pendant (в течение <мысли>, в дополнение — *ред.*) к этому могут служить слова уже цитированного пр. Рилля, который тоже, в утешение читателю, рассказывает, что Ницше, подобно Руссо, «в своей личности и судьбе являет пример трагизма гения». Давно бы пора отказаться от этих общих мест, в которых с такой непозволительностью сказывается эгоизм людей, всегда готовых греться у огня и платонически завидовать «прекрасной судьбе» Прометея, у которого в это время коршун выклёвывает печень. Была ли прекрасна судьба Ницше — об этом нужно его спросить. И вот что тогда он расскажет нам о «трагизме» гения: «Психолог, прислушиваясь к суждениям людей, молчит: с неподвижным лицом узнаёт он, что там уважают, удивляются, любят, прославляют — где он видел; он даже ещё считает необходимым скрыть своё молчание и для виду соглашается с первым случайным мнением. Может быть, парадоксальность его положения доходит до

такой ужасной степени, что именно там, где он научился великому состраданию и великому презрению, — толпа, образованные люди, мечтатели в свою очередь учатся великому уважению к «великим людям» и чудесным животным, ради которых можно благословлять и чтить отечество, мир, достоинство человека, самих себя, на которых указывают юношам, как на пример. И кто знает? Может быть, во всех великих случаях до сих пор происходило одно и то же: толпа молилась на бога, а этот бог был сам только бедным жертвенным животным»⁴. Так понимает «психолог» историю «великих людей», судьба которых кажется завидной пр. Лихтенбергу. Далее Ницше продолжает: «Эти великие поэты — Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст, Гоголь (я смею назвать более значительные имена, но я их имею в виду) — какими они были, может быть, должны были быть: люди мгновения, восторженные, чувственные, ребячески наивные, легкомысленные и непрочные в своей подозрительности и доверчивости; принуждённые скрывать какую-нибудь брешь в своей душе; часто своими сочинениями ищущие отомстить за пережитый позор (*innere Besudelung*); в своём парении стремящиеся освободиться от напоминаний слишком хорошей памяти; топчущиеся в грязи, почти влюблённые в неё — до тех пор, пока они не уподобляются блуждающим у болота огонькам и не притворяются звёздами — народ их тогда называет идеалистами; часто борющиеся с вечным отвращением к жизни, с постоянно вновь возвращающимся к ним привидением неверия, которое охлаждает человека и научает его желать *gloria* и жрать «веру в себя» из рук опьянённых льстецов: какое мучение эти великие художники и вообще эти великие люди для того, кто однажды разгадал их». В этом отрывке называются только имена Байрона, Мюссе, Гоголя и т. д. Более значительных писателей Ницше как будто бы не смеет назвать. Но в другом месте почти такое же, если не более ужасное, подозрение высказывается по поводу Шекспира. Читатель помнит ту сцену из «Юлия Цезаря», когда поэт врывается в палатку ссорившихся вождей — Кассия и Брута, — чтоб примирить их. Ницше говорит по поводу неё: «Шекспир пал ниц перед образом и добродетелью Брута и чувствовал себя далеким и недостойным его. Дважды является поэт в пьесе, и дважды на него изливается такое крайнее и нетерпеливое презрение, которое звучит как крик — как крик самопрезрения. Брут, сам Брут теряет терпение, когда является поэт, самоуверенный, патетический, надоед-

ливый, какими обыкновенно бывают поэты, в качестве существ, умеющих высокопарно болтать о возможностях величия — также и нравственного, — но в философии действия и жизни редко достигающих обыденной честности. «Я буду слушать остроты его, коль вовремя он будет говорить их. К чему при войске эти скоморохи. Приятель, убирайся!» — восклицает Брут. Перенесите эти слова в душу поэта, написавшего их»⁵.

Такие мотивы творчества находил Ницше у великих поэтов. Нас теперь не занимает, насколько справедливы его догадки. Для нас гораздо важнее установить, что привело его к ним. У него прямого ответа нет. Когда однажды один из учеников спросил у Заратустры объяснения по поводу его слов, он получил такой ответ: «Я не принадлежу к числу тех людей, у которых спрашивают об их «почему». Разве мои переживания со вчерашнего дня?»⁶. В этом — одно из достоинств философии Ницше. Большинство разного рода «потому», которыми обыкновенно писатели обставляют свои положения, являются аргументами *ex post facto* [постфактум (*ред.*)]. Убеждение давно созрело, нужно лишь заставить людей принять его: и все доводы считаются хорошими, если только они достигают своей цели, т. е. представляют суждение законным и правомерным с логической точки зрения. И Ницше иногда пускается «обосновывать» свои мнения, ссылаясь на историю, филологию и т. д.; и тогда его рассуждения настолько же проигрывают в своём значении и интересе, насколько они выигрывают во внешней обстановке. Его «познание» вытекло из внутреннего опыта, из того страшного опыта, который приводит к убеждению, что больной не имеет права быть пессимистом, что великие писатели вымещают свое *innere Besudelung*, что там, где все чтят бога — на самом деле есть только «бедное жертвенное животное». Такие и им подобные «потому» — в ответ на любопытствующие «почему» в прямой форме никогда не рассказываются, не могут быть рассказаны. Они проявляются лишь в своеобразной пронизательности насчёт психики других людей. И если Ницше утверждает, что обращённые к поэту слова Брута нужно перенести в душу Шекспира, то мы наверное можем принять его собственные проникновения в тайны великих людей за невольные признания и в них найти те переживания, о которых он не хотел рассказывать ученику своему, ссылаясь на их отдалённость и свою плохую память. «Если я имею преимущество пред другими психологами, — говорит Ницше, — то оно со-

стоит в том, что мой взгляд острее в том труднейшем и рискованнейшем виде обратного заключения, при котором совершались наибольшие ошибки: заключения от создания — к его творцу, от поступка — к поступающему, от идеала — к тому, кто в нём нуждается, от каждого строя мысли и оценки — к кроющимся под ними потребностям»⁷. Это он правду говорит о себе. Он научился там различать, где другие ничего не видели. Но откуда взялась в человеке, жившем за «семью уединениями», такая своеобразная пронизательность? Очевидно — источник один: он находил у других то, что видел у себя.

«Каждый глубокий мыслитель, — говорит Ницше, — гораздо больше боится быть понятым, чем не понятым. В последнем случае, быть может, страдает его тщеславие; в первом же — его сердце, его любовь к людям, которая говорит: ах, зачем вы хотите то же вынести (es auch so schwer haben), что и я?»⁸. Из этого читатель может себе до некоторой степени представить, что значат нижеследующие слова Ницше: «Что касается моей болезни, — я ей несомненно большим обязан, чем моему здоровью. Я ей обязан высшим здоровьем, таким, при котором человек крепнет от всего, что его не убивает. Я ей обязан всей моей философией. Только великая боль — последний освободитель духа; она учит великому подозрению, она из каждого U — делает X, — истинный, настоящий X, т. е. предпоследнюю букву пред последней. Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах, которая не торопится — только эта боль заставляет нас, философов, спуститься в последние наши глубины, и всё доверчивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, посредственное — в чём, быть может, мы сами прежде полагали свою человечность — отбросить от себя»⁹. Эти вольные и невольные признания открывают нам, с какой нуждой пришёл Ницше к «добру», и чего он ждал от нравственности, когда он утверждал, что её проблема — была его собственной, личной проблемой, что с ней была связана его судьба. Повторяем, быть может, нравственности не впервые приходилось иметь дело с людьми, находившимися в обстоятельствах Ницше. И, может быть, многие вслед за Ницше могли бы повторить: «Я сомневаюсь, чтобы такое страдание делало человека «лучшим» — но оно делает его более глубоким»¹⁰. Но до Ницше никто не смел открыто, своим, таким своим опытом проверять общепризнанные суверенные права «добра». Если Ницше говорит: «Больной не

имеет права быть пессимистом», — то другие до него считали, что больной (несчастный) человек не имеет права претендовать на нравственность, если она не оправдывает его надежд, что вина не в ней, а в нём самом. Это станет яснее впоследствии, когда мы ознакомимся подробнее с теми причинами, которые заставили Ницше отшатнуться от своих юношеских идеалов; пока мы должны лишь раз подчеркнуть одно чрезвычайно важное обстоятельство. Ницше был и остался до конца своей жизни нравственным человеком в полном смысле — самом обыденном — этого слова. Он не мог и ребёнка обидеть, был целомудрен, как молодая девушка, и всё, что почитается людьми долгом, обязанностью, исполнял разве что с преувеличенным, слишком добросовестным усердием. Мы уже приводили два его афоризма: «Ни за что так дорого человек не расплачивается, как за свои добродетели» и «кто уже не жертвовал самим собою ради своего доброго имени!»¹¹. Для нас в этих словах неоценимое свидетельство, более важное, чем толстые биографические книги, в которых искренние и добросовестные люди из сил выбиваются, чтобы изобразить Ницше шаблонным великим человеком, т. е. таким, каким великому человеку быть полагается, сообразно установившимся у нас традиционным представлениям о сущности гения. Здесь же любопытно для нас, ищущих найти точки соприкосновения между немецким антихристом и русским христианином, вспомнить о соответствующем признании гр. Толстого. Гр. Толстой никогда не платился за свои добродетели. Но за пороки — платился, и очень. Вот его подлинные слова: «В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесённых мною во имя учения мира столько, что их достало бы на хорошего мученика Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей и войны, до того нездоровья и тех неестественных условий жизни, в которых я живу и теперь — всё это мученичество во имя мира». Очевидно — помимо того, как теперь гр. Толстой оценивает своё прошлое — когда-то он грешил очень охотно и много, и такой эпохи в своей жизни, которая была бы посвящена всецело служению добродетели, он назвать не может (последние годы, понятно, не в счёт). Его вывод из всей своей греховной жизни прямо противоположен ницшевскому: «Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько свою жизнь, и он увидит, что он ни разу не пострадал от исполнения учения Христа». Вопрос лишь в том,

может ли быть гр. Толстой судьёй в значении добродетели для человека, когда он сам так много грешил. Очевидно, что в этом смысле «безнравственный», как его называет гр. Толстой, Ницше гораздо компетентнее: ни пьянства, ни разврата, ни дуэлей, ни всего прочего, чем была наполнена жизнь гр. Толстого, у него не было. Он служил «добру». И добро сыграло над ним коварную шутку. Пока он был молод, силен, здоров, пока он мог обойтись и без утешения добра, т. е. пока он имел в своем распоряжении всё, чему обыкновенно радуются и чем живут люди, и добро приносило ему свои дары. Когда же всё у него было отнято, когда он остался один — и добро, как неверный друг, покинуло его. Ему не было и 30 лет, когда с ним произошла та страшная метаморфоза, которая называется болезнью. Почти сразу, как роптавший магометанин в пушкинском стихотворении, — он, уснувший юношей, проснулся разбитым старцем с страшным сознанием, что жизнь ушла — и не вернётся никогда. А смерти нет — нужно жить под мрачный напев фаустовской песни: *entbehren sollst du, sollst entbehren*. С такой мольбой пошёл он к добру — единственному Богу, которому мог он молиться! Другого Бога у него не было, он не смел о другом Боге и думать потому же, почему не смел быть пессимистом: ибо этот Бог вышел бы, психологически говоря, придуманным *ad hoc* для облегчения и утешения, как и пессимизм, который у больного является результатом не объективного созерцания, а неудачно сложившейся личной судьбы...

IX

А искал ли Ницше Бога? Об этом уже достаточно свидетельствуют его страстные нападки на христианство. В наше время они звучат совершенным анахронизмом для «образованного» человека — гр. Толстой это лучше других знает. Тем более, что у Ницше они не вызываются, как у других писателей — у Вольтера и молодого Гейне, например, — совершенно посторонними, политическими соображениями. Как раз наоборот: все демократические чаяния обычных врагов государственных религий Ницше чужды. Более того, Ницше ставит в вину христианству широкое распространение современной идеи о равенстве людей и об этом говорит часто, много и как будто бы страстно — хотя, в сущности, он к общественным вопросам был равнодушен до наивности. Христианство занимало его именно как религия, как

учение, которое должно было разрешить все его сомнения, освободить его от отвращения к жизни, которое постоянно овладевало им, несмотря на то, что он так убеждённо утверждал: «Больной не имеет права быть пессимистом». В истории нового времени Ницше является первым, быть может, единственным, философом-врагом христианства как религии и, что ещё важнее, одним из немногих, решившихся отвергнуть утешение Евангелия в то время, когда оно ему нужно было больше всего на свете. До сих пор, обыкновенно, говорили, что человек «обязан» верить, быть религиозным. По поводу Ницше нужно изменить это выражение. Нужно сказать: «Человек имеет право верить, быть религиозным». История атеизма Ницше есть история отыскания этого права. Если он не нашёл его, то, очевидно, не по своей «вине». О «злой воле», которую так охотно приписывают неверующим — и которую так часто ставит в упрёк гр. Толстой современным интеллигентным людям — здесь, конечно, не может быть и речи. Наоборот, Ницше положил все силы своей души на то, чтобы найти веру. Если же он её не нашёл, то, стало быть, условия таковы, что ему и найти её нельзя было. Психология гр. Толстого, который допускает единственно возможную причину неверия — нежелание принять на себя обязанности, возлагаемые христианством, к Ницше, очевидно неприменима. Для него и людей, находящихся в его положении, христианство никаких обязанностей не уготовило: для обиженных, несчастных, больных — все права. И Ницше это слишком хорошо понимал. Во все времена, даже языческие, говорит он, люди жертвовали Богу всем, что им наиболее дорого. Что же нам, спрашивает он, осталось принести в жертву своему Богу? И вот какой получается у него ответ на этот вопрос: «Не должны ли мы, наконец, пожертвовать всем утешающим, святым, исцеляющим, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в блаженство и справедливость в будущем? Не должны ли мы пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, обоготворять камень, глупость, тяжесть, судьбу, ничто? Пожертвовать Богом ради «ничего» — это парадоксальное таинство последней жестокости выпало на долю нашего поколения: мы все знаем кой-что об этом»¹². Таков был атеизм Ницше: не пренебрежённая обязанность, а утерянное право. «Свободомыслелие наших господ естествоиспытателей в моих глазах — шутка; им недостаёт моей страсти в этих вещах, моего страдания»¹³, — говорит он в последнем своём произведении,

в «Антихристе». Обычное равнодушие образованных людей к религии Ницше отлично знал и умел ценить: он помнил себя самого в молодые годы, когда Шопенгауэр и Вагнер ему заменяли всё, и когда под гром пушек, сопровождавший ужасную трагедию 70-го года, он в отдалённом уголке Альпов так учёно и мило объяснял «рождение трагедии». Вот его воспоминания об этом времени. По обыкновению, он говорит не о себе, а о других — о немцах, об учёных вообще. Но мы знаем уже, откуда он берёт свои сведения. «Меж теми, которые в настоящее время живут в Германии вдали от религии — я нахожу людей всякого рода и вида «свободомыслия»; прежде всего множество таких, у которых, благодаря постоянной и усидчивой работе, из поколения в поколение атрофировался религиозный инстинкт: так, что они даже и не знают, зачем собственно нужны религии, и с видом тупого удивления отмечают их существование среди людей. Они чувствуют себя — эти славные люди — достаточно занятыми своими делами и удовольствиями, не говоря уже об «отечестве», газетах, «обязанностях пред семьёй»; по-видимому, у них совсем не остаётся времени для религии, тем более, что им не вполне ясно, о чём собственно здесь идёт речь — о новом ли удовольствии или о деле. Ибо, говорят они себе, «не может же быть, чтоб в церковь ходили единственно затем, чтобы портить себе настроение». И дальше: «Редко верующий или даже просто набожный человек имеет представление о том, сколько доброй воли — можно было бы сказать добровольной воли — нужно теперь немецкому учёному, чтобы серьёзно отнестись к вопросу о религии; в силу своего ремесла он склонен относиться к религии с высокомерной, почти добродушной весёлостью, к которой примешивается лёгкое презрение к «нечистоплотности» ума, всегда предполагаемой в людях, не отложившихся от церкви». Это из собственного прошлого Ницше, ибо говорится о других, о немцах вообще, об учёных. А вот заключение уже из нового опыта: «Каждая эпоха имеет свой собственный, божественный вид наивности, изобретению которого ей могут завидовать другие эпохи; и сколько такой наивности, почтенной, ребяческой и безгранично глупой наивности кроется в сознании своего превосходства у учёного, в добросовестности его терпимости, в той беспечной, легкомысленной уверенности, в силу которой он считает религиозного человека низшим, сравнительно с собой, типом, от которого он давно ушёл — он, маленький, притязательный карлик и плебей, при-

лежный, добросовестный работник, создающий «идеи», «современные идеи»¹⁴. Такими и подобными размышлениями переполнены книги Ницше. Очевидно, что мысль его, когда-то настолько поглощённая теоретическим пессимизмом, филологическими исследованиями и искусством, что ей некогда было и взглянуть в ту сторону, где говорилось о религиях, и в силу этого усвоившая себе обычное в среде учёных добродушно-презрительное отношение к вопросам о Боге, теперь всецело сосредоточена на том, что прежде почиталось нестоящим внимания. «Бога нет, Бог умер» — эта весть, которая когда-то была им так спокойно принята непроверенной с чужих слов, теперь возбуждает в нём мистический ужас. Вот в каких выражениях передаёт он теперь её: «Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажжёт фонарь, выбежал на рынок и непрестанно кричал: «Я ищу Бога, я ищу Бога». — Все вокруг него смеялись и острили. Но «безумный» человек вбежал в толпу и, пронизывая всех своим взглядом, воскликнул: «Где Бог? Я вам скажу. Мы его убили — я и вы. Мы все убийцы. Но как мы это сделали? Как могли мы выпить море? Кто дал нам эту губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвавши землю от её солнца? Куда идёт теперь она? Куда идём мы? Прочь от солнца? Не падаем ли мы непрерывно? Идём назад, в сторону, вперёд, во всех направлениях? Есть ли ещё верх и низ? Не блуждаем ли мы в бесконечном ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли всё более и более тёмная ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим шума могильщиков, погребаяющих Бога? Разве не доносится до нас запах тления? И боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц? Самое могущественное и святое Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смочит с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие испительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве грандиозность этого дела не слишком громадна для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, этим самым будет принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история». Здесь замолчал безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей: и они молчали и удивлённо глядели на него. Нако-

нец, он бросил свой фонарь на землю, так что он разбился вдребезги и погас. «Я пришёл слишком рано, — сказал он, — моё время ещё не наступило. Это страшное событие ещё в пути, ещё идёт — ещё не дошла весть о нём до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звёзд нужно время и деяниям нужно время, — после того как они уже совершены, — чтобы их увидели и слышали. Это деяние пока ещё дальше, чем самые отдалённые светила, а всё-таки вы его совершили»¹⁵. В таких и подобных выражениях говорит Ницше о значении своего атеизма. Видно, что все сравнения, которые приходили ему в голову, казались ему недостаточными для того, чтобы поделиться с людьми ужасным впечатлением опустошения, которое он испытал, когда «увидел и услышал», что Бог убит — он, который когда-то утверждал, что у людей недостаточно любви, чтобы отдавать её фантастическим существам. Очевидно, что любви у него было достаточно, много, слишком много, и что он понимал хорошо, чем бы мог быть для него Бог, если бы ему дано было верить; очевидно, что не было надобности в постороннем влиянии, чтобы привести Ницше к вере. И тем не менее он не уверовал и принёс в жертву все свои надежды на скрытую гармонию, на блаженство и справедливость в будущем. «Религиозное сознание нашего времени», которое гр. Толстой считает возможным сделать обязательным для всех, отказалось сослужить свою службу там, где его приняли бы, как благовест. Очевидно, что не от воли человека зависит — верить или не верить, и что, соответственно этому, основное положение гр. Толстого, в силу которого человеку стоит только пожелать, и он найдёт для себя нравственную опору в жизни, превращается из аксиомы в теорему или даже — прямо говоря — в истину, которая не может быть ничем доказана. А вместе с тем выясняется, что и вся задача, поставленная себе гр. Толстым, им не исполнена, что он снял с себя обязанность приводить людей к религии и взамен этого взял на себя право громить их за их неверие. И скажу ещё раз то, что говорил раньше: гр. Толстой сделал так не потому, что он не понимал, чего от него могут ждать, а потому, что он не мог ни для себя, ни для других выполнить эту великую задачу. Там, где не верит Ницше, не верит и гр. Толстой. Но Ницше этого не скрывает (он скрывает другое), граф же Толстой считает возможным не рассказывать своим ученикам о той пустоте в своём сердце, над которой он воздвиг столь блестящее в литературном отношении здание пропо-

веди. Кто прав, Ницше — или гр. Толстой? Что лучше — прятать ли свои сомнения и обращаться к людям с «учением», в надежде, что для них этого достаточно, и что у них никогда не явятся те же вопросы, которые мучили учителя — или говорить открыто? А что, если эти вопросы придут, возникнут сами собой у учеников? Ученики, конечно, не посмеют говорить о том, о чём учитель молчал! Какое странное общество добросовестных лицемеров с ясными речами и затуманенными головами получится тогда! И разве эта, хотя и добрая, честная ложь не отметится и в седьмом колене? Разве мученики притворной веры нужны кому-нибудь? Было время, когда людей приводили к религии — даже к христианству — огнём и мечом. Теперь — не то. Мы знаем, что и нравственный авторитет в этом деле — непозволительное средство. Мы хотим, чтобы верили так, как верили первые христиане, когда пытками принуждали к отречению от Христа, когда наука, искусство, авторитет общественной власти — всё было против нового учения. Только такую веру мы ценим. И если Ницше, находившийся именно в таком положении, не мог уверовать, для нас это не должно служить поводом к громовым проповедям. Наоборот, здесь только нужно замолчать — и слушать для того, чтобы понять, почему прежде бывший сравнительно лёгким и доступным, — во всяком случае, возможным — путь к вере теперь оказывается закрытым для тех, кто в ней наиболее нуждается и так горячо её ищет. В таких случаях греметь и громить может лишь тот человек, которому нужно в себе самом заглушить голос сомнений. Но нужно ли это? Не для графа Толстого — он сам знает, что для него лучше, — а для его читателей, для тех сотен и тысяч Ницше, которые, вынося его судьбу, не находят в себе смелости говорить собственным языком и покорно с внешней стороны, но с ужасом в душе повторяют недоступные им речи из чужой проповеди. Это называется резиньяцией и этого тоже требуют от людей, как их обязанности, во имя разных вещей, называемых хорошими словами. Несправедливо ли это? Ведь, в конце концов, это требование имеет одно основание: зажать рот несчастным, неудачливым, чтобы всем остальным до поры до времени спокойней жилось. Но помимо того, что это несправедливо — это и невозможно. Попытка гр. Толстого ограничить сферу дозволенного в искусстве путём введений новых определений дурного и хорошего искусства, конечно, ни к чему не может привести. Люди всегда говорили и будут говорить о том, чем полна

их душа, и никакие поэтики, ни аристотелевские, ни толстовские, не содержат накипевших мук. Но нас занимает здесь не этот практический чисто вопрос. Для нас представляется несравненно более серьёзным и важным то обстоятельство, что гр. Толстой повернулся спиной к собственной задаче, закрыл глаза на свой вопрос. Он знает, что значит искать веры и не находить её. Его Лёвин, молодой, здоровый человек, счастливый семьянин, был близок к самоубийству только потому, что не мог найти Бога. Вправе ли гр. Толстой требовать от нас, чтобы мы не подозревали теперь правдивости и искренности его слов, когда он утверждает, что «добро», «братская любовь» есть Бог? Вправе ли он рассчитывать, что негодование, которое он изливает на «неверующих», и рецепт физического труда, предлагаемый им как панацея против всех бед, не покажется нам только ловким, а может быть и неловким, обходом собственных сомнений?

Х

Между прочим, эти средства не могут похвалиться и новизной. Давно известно, что труд — всякий, не только физический — отвлекает от размышления. Ещё более давно установилось убеждение, что негодованием можно на время подавить какие угодно запросы человеческой души. И не только по поводу Ницше в наше время, но вот уже много десятков лет люди разных положений негодуют против Гейне за его «безбожие». Добро бы таким способом боролись с его юношескими стихотворениями, в которых можно ещё видеть легкомыслие человека, не знающего «зачем, собственно, и существуют религии». Но — особенно у немцев — Гейне не желают простить именно его последние произведения, произведения *Matrasengruft*. Очевидно для всех, что у парализованного к постели, не имеющего никакой надежды на выздоровление, не может уже быть «злой воли» в неверии. Такому человеку вера нужна более всего в жизни; обычных «соблазнов», которыми люди уводятся к атеизму, у него быть не может. Если до последних минут жизни у Гейне происходят непрерывные приливы и отливы веры, если каждый раз в нём резиньяция сменяется протестом, умиление — насмешкой, то для нас во всём этом тем меньше может быть повода к негодованию, чем сами мы прочнее и убеждённее верим в то, что знаем истину. Наоборот даже, с истинно-религиозной, возвышенной точки зрения — настроения

характер религиозного сознания нашего времени. Гр. Толстой, как и следует проповеднику, изображает это сознание в абсолютных словах как нечто, могущее быть принятым и отверженным по желанию. Но, как видно из признаний Гейне и Ницше, желание тут ни при чём. Заратустра говорит ученикам своим: «Вы ещё не искали меня и не нашли меня. Так делают все верующие; оттого всякая вера так мало значит. Теперь я велю вам потерять меня и найти себя. И когда вы отречётесь от меня — я вернусь к вам»¹⁶. Для Ницше отречение — единственный, неизбежный способ вновь обрести учение и учителя. И в этом отречении — источник новой поэзии, нового искусства. Из этого вытекла «Божественная Комедия», которую гр. Толстой не считает возможным включить в свой коротенький список дозволенных к чтению вещей. Данте на половине своего жизненного пути заблудился в мрачном лесу и искал, как выбраться оттуда. Он побывал за той ужасной дверью, одна надпись на которой приводит в трепет тех, кому приходилось читать её на языке Данте. Конец все знают: *lasciate ogni speranza voi ch'entrate* [Оставь надежду всяк сюда входящий (*итал.*)]. То же, что о Данте, можно сказать о Шекспире. И его лучшая поэзия (второго периода) вытекла из необходимости отречься от учения, чтоб своими силами вновь обрести его. В приведённых выше словах Заратустры формулирована ставшая неизбежной для современного человека стадия развития. Нам уже не дано найти, не искавши. От нас требуют большего. И мы должны отречься, как в своё время отрёкся гр. Толстой, как отрекается он ещё теперь. Мы должны понять весь ужас того положения, о котором говорит Ницше словами безумного человека, который скрыт под юмором Гейне, который испытал за своей дверью Данте, из которого родились трагедии Шекспира, романы и проповеди гр. Толстого. В былые отдалённые времена об этих роковых тайнах жизни знали очень немногие. Остальные получали веру даром. Теперь время другое. И религиозное сознание добывается иным путём. Там, где прежде достаточно было проповеди, угрозы, нравственного авторитета, — теперь спрашивают больше. Не все, конечно; большинство и теперь, даже среди «образованных» людей «с тупым удивлением отмечают существование религий».

Потому-то искусство, пытающееся удовлетворить высшим запросам человеческого духа, не может быть доступно всем. Одни наслаждаются «отравленной совестью» или «разбойником

Чуркиным» и в таких пьесах находят удовлетворение, меж тем как другие идут к Данте, Гёте, Шекспиру, к греческим трагикам, ища у них ответа на мучительные вопросы. Гр. Толстой говорит, что искусство «высших классов отделилось от искусства всего народа, и стало два искусства: искусство народное и искусство господское». Нет — это разделение по чисто внешним, неважным признакам. В пределах господского искусства есть многое, что было бы под стать любому мужику, если бы не чуждая обстановка и язык. А «Макбет», «Лир», «Прометей» кажутся скучными многим господам, которые посещают представления «классических» пьес только ввиду существующего представления, что они имеют воспитательное значение или что-то в этом роде. На самом деле тот, кому «отравленная совесть» нравится и скучен Шекспир, наиболее благоразумно поступил бы, если бы следовал внушениям своего вкуса. Его время ещё не пришло. Пусть пока радуется на то, что ему нравится, что ему нужно. Сам гр. Толстой в «Смерти Ивана Ильича», произведении, так загадочно прорвавшемся сквозь законченную якобы гармонию его «религиозных настроений», рассказал нам, что в самое последнее время¹⁷, тогда, когда план спасения человечества посредством труда и «правил» был им вполне выработан, сомнения бушевали в его душе не меньше, чем у Гейне или Ницше, и что «наши» вопросы были тогда и его вопросами.

Вот как он рассказывает о последних минутах Ивана Ильича: «Он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришёл конец, совсем конец»... «Все три дня, в продолжении которых для него не было времени, он барахтался в том чёрном мешке, в который его просовывала невидимая, непреодолимая сила. Он бился, как бьётся в руках палача приговорённый к смерти, зная, что он не может спастись: и с каждой минутой он чувствовал, что несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становится к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту чёрную дыру, и ещё больше в том, что он не может пролезть через неё». В этих словах основная тема рассказа. Вслушайтесь только в них хорошо. Какие выражения подбирает гр. Толстой! «Пропал», «конец, совсем конец», «чёрный мешок» и т. д. Разве от них не веет настроением метерлинковской *l'intruse* [чужак (*фр.*)]? Правда, у гр. Толстого в конце рассказа есть как бы ответ на вопрос. Ивану Ильичу «пролезть мешает признание, что жизнь его была хороша. Это-то оправда-

ние своей жизни цепляло и не пускало его вперёд и больше всего мучило его». Всё начало рассказа объясняет нам, чем была не хороша жизнь Ивана Ильича. Он слишком щадил себя, слишком оберегал приятность приличной жизни, слишком дорожил средними благами и только теперь, когда подошла трагедия, впервые почувствовал, что он пропустил лучшее в жизни. Но тем ужаснее это. Зачем теперь ему эта пронизательность, когда все счёты с жизнью кончены? Что с того, что в конце дыры, в которую он провалился, «засветилось что-то», и что он «вдруг узнал настоящее направление»? Какой ответ может быть на этот вопрос? «Избавить их (окружающих) и самому избавиться от этих страданий». Только то? Последние слова Ивана Ильича, когда он слышал, что кто-то над ним сказал «кончено», были: «Кончена смерть. Её нет больше». Что это значит? Что значит, что «страха смерти не было, потому что смерти не было. Вместо смерти был свет»? Как в своей душе гр. Толстой объясняет эту ужасную трагедию ни в чём неповинного человека? Его ответ — проповедь: любите ближнего и трудитесь. Но об этом его не спрашивают, об этом он сам себя не спрашивает. Прочитав Ивана Ильича, мы во все не интересуемся узнать, как нам спастись от его ужасной участи. Наоборот, вместе с Белинским, мы требуем отчёта о каждой жертве истории, условий и т. д. и не только не желаем лезть на верхнюю ступень развития, но наоборот, готовы броситься с неё вниз головой, если нам не ответят за Ивана Ильича.

«Смерть Ивана Ильича» как художественное произведение принадлежит к лучшим перлам толстовского творчества. Это вопросительный знак, начертанный такой резкой, чёрной краской, которая просвечивает через все слои новых, радужных красок проповеди, которыми гр. Толстой хотел принудить нас забыть свои прошлые сомнения. Никакая проповедь ему не поможет. Мы будем спрашивать, как спрашивал до сих пор гр. Толстой, как бы он ни отрекся от своего прошлого, как бы ни раздувал он слово «вина», как бы ни грозил он нам отлучением от нравственности, т. е., в его терминологии, от Бога. Мы знаем, что это не так, что «вина» может быть пред нравственностью, но не пред Богом, ибо нравственность — дело рук человеческих. Вот любопытный отрывок из беседы между Заратустрой и старым папой, который «после смерти Бога» остался без службы. Старый папа рассказывает о смерти Бога в таких словах: «Кто хвалил его как Бога любви, недостаточно ценил самую любовь. Разве этот Бог не

хотел быть также и судьёю? Любящий же не знает ни награды, ни отмищения. Когда он был молод, этот Бог из восточных стран, он был суров и мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев. Потом он состарился, стал мягким и сострадательным, — больше как дед, чем отец или, скорее всего, как старая бабушка. И он сидел, поблекший, на своей печке, разглядывая свои старые ноги, уставши от жизни, бессильный, пока, наконец, не задохнулся от сострадания»... — Ты, папа, — прервал его Заратустра, — видел ли ты всё то своими глазами? Могло быть и так, могло быть и иначе. Боги умирают разного рода смертями. Но что ж! Так или иначе — он умер. Он шокировал мои глаза и мой слух — худшего я не хочу говорить о нём. Я люблю тех, которые ясно глядят и прямо говорят. А он, — ты знаешь это, старый священник, — в нём было много твоих черт, священнических. Его можно было разное понимать, Его часто и совсем нельзя было понять. Как сердился он на нас за то, что мы его плохо понимали. Но зачем не говорил он яснее? Если причина была в наших ушах, зачем дал он нам уши, которые плохо слышат? Была грязь в ушах наших? Но кто вложил её туда? Слишком многое не удавалось ему. Но в том, что он мстил своим творениям — за то, что они не удались ему — в этом он грешил против хорошего вкуса. И в благочестии есть хороший вкус, который говорит, наконец: прочь с таким богом! Лучше совсем без бога, лучше на свой страх устраивать свою судьбу, лучше быть дураком, лучше самому быть богом»¹⁸.

Пусть читатель не оскорбляется этими словами. Я пишу нарочно «бог» с маленькой буквы, ибо здесь идёт речь о том боге, который равняется добру, т. е. о боге, пишущемся не с прописной буквы и служащем для проповедников ширмой, которой они закрываются от учеников своих. Послушайте, что ответил папа Заратустре: «О, Заратустра, со всем твоим неверием — ты благочестивее, чем ты думаешь! Сам Бог обратил тебя к безбожию. Разве не благочестие не позволяет тебе верить в Бога?» Чтоб читателю было ещё яснее, как понимал, мог понимать Ницше того бога, которого пришлось убить, приведу один из его последних афоризмов, определяющий нравственный миропорядок: «Что такое нравственный миропорядок? Есть раз навсегда воля божья, в силу которой одно — должно делать, другое — не должно делать. Ценность народа и отдельной личности определяется тем, насколько, в какой мере они подчиняются

Божьей воле»¹⁹. Это именно то понимание, которое предлагает своим ученикам гр. Толстой. Гр. Толстой хочет, чтобы его ученики приняли закон, не зная зачем он, чтоб Иваны Ильичи отреклись от искания средних благ, которые им дороже всего в мире, прежде чем жизнь их научит, что не степенью «приятности» измеряется достоинство человеческого существования. И он грозит им всем запасом выработанных традиционной нравственностью угроз, он хочет пристыдить, запугать, ужаснуть их, лишь бы они только исполняли правила, т. е. делали бы то, что им в данную минуту не нужно, чуждо, но что, быть может, они когда-нибудь сочтут лучшим. Сам гр. Толстой так не жил. Он всегда делал то, что ему нужно было. Теперь — нравственная жизнь и проповедь ему нужнее всего. Это спасает его от мучительных снов. Но у других — другие сны. И им режим гр. Толстого ничего дать не может. Какое же право имеет он называть свою нравственность — Богом и закрывать пути ищущим действительного Бога? Уже разговор папы с Заратустрой показывает нам, как мало «Бог-добро» мог удовлетворить Ницше, и как представление о «Боге-судье» заставило Ницше отшатнуться от привычных религиозных представлений. И неудивительно: гр. Толстой всегда имел возможность «исправиться». Он в 50 с лишним лет мог нарядиться в мужика, пахать, заниматься благотворительностью. Но что бы сделал он, если бы оказался в положении Ницше, когда «исправиться» нельзя, когда возврат невозможен, когда будущего — нет, а есть только прошедшее? Что тогда бы сказала ему формула «добро — Бог»? Это положение знал гр. Толстой: он написал «Смерть Ивана Ильича». Этот вопрос, повторяем, просвечивает для всех, кто не закрывает глаз, сквозь красноречивые и патетические фразы его проповеди. Но открыто говорить о нём гр. Толстой уже не хочет. Послушаем же Ницше; он нам расскажет всё то, что рассказал бы Иван Ильич, если бы ему суждено было 15 лет прожить в том положении, в каком он оказался, когда понял, что «пропал», что наступил «конец, совсем конец».

<...>

XV

На этом кончается у Ницше философия, и начинается «проповедь». Начинается ограждение и возвеличение своей лично-

сти, разделение людей на высших и низших, достойных и недостойных — словом, то же, что было и до Ницше. Правда — слова иные. О добре не говорится. Его место занял *Übermensch* [сверхчеловек (*нем.*)]. Но роль *Übermensch*'а — не новая. Его именем Ницше говорит и делает то же, что Достоевский и гр. Толстой говорили и делали от имени добра. Нужно оправдать как-нибудь себя, нужно забыть прошлое, нужно спастись, избавиться от страшных вопросов, на которые нет настоящих ответов. И Ницше обращается к старому испытанному средству, которое уже столько раз исцеляло больные и измученные человеческие сердца — к проповеди. Ницше говорит: «В какую философию ни забрасывал я свои сети, всегда выносили они мне голову старого идола». Эти слова в известной степени применимы и к нему самому. И его *Übermensch* — лишь голова старого идола, только иначе раскрашенная. Вслед за Достоевским и гр. Толстым, так родственным ему по своим натурам, и Ницше не мог вынести страшного вида жизни, не мог примириться со своей судьбой. Что такое его аристократизм? В переводе на простой, хотя бы толстовский язык, имеющий такое большое преимущество ясности — это значит: «Я и ещё немногие — очень великие люди; остальные — ничтожные пешки. Быть великим — самое главное, самое лучшее, что бывает в жизни. И это лучшее — у меня есть, а у других — нет. Главное — у других нет». Почему такое сознание утешает человека, почему ему легче, когда он думает, что может похвалиться пред другими своими преимуществами — кто разгадает эту тайну человеческой психики? Но факт остаётся фактом. Из-за этого Достоевский душил своего Раскольниковца, из-за этого гр. Толстой был так беспощаден ко всей интеллигенции. Так мучительна, так глубока у людей потребность найти себе точку опоры, что они всем жертвуют, всё забывают, лишь бы спастись от сомнений. А в проповеди, в возможности негодовать и возмущаться — лучший исход, какой только можно придумать для бушующей в душе бури. Гр. Толстой даже марксистов назвал «безнравственными». Марксистов, которые из-за идеи, из-за того, что они считают «доброе», бросают всё и лучшие годы проводят за чтением «Капитала», сведением статистических таблиц и другими подобными занятиями, не обещающими им, как известно, ничего хорошего! Можно опровергать их, жалеть — всё, что хотите; но очевидно, что только из-за «нравственности» у них весь сыр-бор загорелся, хотя они и противопоставляют себя «субъективистам». Маркс

и статистика — только новая форма. А сущность — старая: положить душу за идею, отречься, принести себя в жертву чему-нибудь, отказаться от своей воли ради торжества «высшего» принципа. Какой ещё нужно нравственности? Но гр. Толстой никому не хочет, не может простить. Все они «безнравственны»! Иначе как забыть Ивана Ильича, распутных девок, ляпинцев, свое бессилие? Если не на кого излиться, не на кого напасть, то, в конце концов, останешься один, с глазу на глаз с проклятыми вопросами, на которые «Бог — добро — ничего ответить не может. Вся соблазнительность такой формулы лишь в том, что она дает возможность отделить себя от всех, найти врагов и бороться — хотя бы с бледными юношами, читающими Маркса, хотя бы с голодными Раскольниковыми, мечтающими об убийстве. Übermensch Ницше — имеет то же значение. Где остановилась философия, вследствие ограниченности человеческих сил — там начинается проповедь. Своё страдание, свой позор, своё несчастье, всё, что пришлось ему вынести в жизни, Ницше, в конце концов, истолковывает в том смысле, что это даёт ему право давить и уничтожать кого-то. «Страдание делает человека аристократом: оно отделяет его от других», — говорит он с той бессознательной откровенностью, которая так часто поражает в нём наряду с систематическим стремлением укрыться под какой-нибудь «маской». И ведь сам знает он, как близки меж собой люди: «Я видел, — говорит Заратустра, — нагими самого великого и самого маленького человека. Слишком незначительна между ними разница!» И тем не менее «аристократизм» сохраняется. Этот «отделяющий от других аристократизм» внушает «пафос расстояния», — тот пафос, который всегда служил единственным источником морального негодования. Я «высок» — все низки: есть почва для протеста, для борьбы, есть куда девать накопившееся чувство горечи и обиды. Если бы «аристократизм», «нравственное совершенство» (оба термина значат одно и то же, тождественны), были детьми самоудовлетворения, ясности и спокойствия духа, то та форма проповеди, которую приняли Достоевский, гр. Толстой и Ницше, была бы невозможна, ненужна. Только бессилие против роковой загадки жизни порождает ту скрытую, глубоко затаённую ненависть, которой запечатлены произведения этих замечательных писателей. С судьбой ничего не поделаешь! Она равнодушна ко всем нашим проклятиям. Её не проймешь! Так направим наше негодование на человека: он услышит. Нужно только уметь бить

его и знать его больные места. Оттого проповедь, говоря языком Ницше, «так мало значит».

Я не хочу ставить это в упрёк Достоевскому, Ницше и гр. Толстому. Если попытки справиться с «великим безобразием, великой неудачей, великим несчастьем» настолько измучили их своей безуспешностью, что они принуждены были перестать допрашивать жизнь и искать забвения в проповеди, то в этом лишь доказательство высокой требовательности их натур. Они уже не могли больше жить без ответа на свои вопросы — и всякий ответ был лучше, чем ничего. Это — «поверхность, родившаяся из глубины», как говорит Ницше. Невозможно существовать, всегда неизменно глядя в глаза страшным призракам. Достоевский и гр. Толстой этого не скажут. Но Ницше, в конце концов, и в этом, как и во всём, признаётся. В афоризме — «чему нам следует учиться у художников», он, описывая приёмы, посредством которых художники «украшают» в своих произведениях действительность — на самом деле далеко не прекрасную, — заключает: «Всё это нам нужно перенять у художников, но быть умнее их. Ибо у них творческая способность кончается там, где кончается область их искусства и начинается жизнь; мы же хотим быть поэтами нашей жизни, в самых малых и повседневных проявлениях её»²⁰. Это постоянное и упорное сознание, что жизнь бедна прекрасным, эта мучительная способность видеть везде дурное, как бы оно ни скрывалось, и заставляет большинство людей искать такой точки зрения, которая бы открывала пред ними более утешительные перспективы. «Аристократизм» и «добро» — лишь средства украсить жизнь. При этом, правда, приходится обратить всех людей в «плебеев» или «грешников», в ничтожные или безнравственные, в мелкие или преступные существа. Но иного выхода нет. Мы помним, что сделал гр. Толстой в «Войне и мире», чтобы всех оправдать, чтоб найти такую философию, которая «не только наказание, но и вину берёт на себя», которая, иначе говоря, никого не обвиняет и ищет объяснения жизни выше людей, над людьми. Но на этой высоте гр. Толстой не мог долго удержаться. Уже в «Анне Карениной» он изменяет себе. И чем дальше, тем больше он замыкается в тот нравственный аристократизм, который он называет «добром», но который только по форме отличается от ницшевского *Übermensch*'а. У гр. Толстого проповедь довлеет самой себе. Не ради бедняков, голодных и униженных, призывает он к добру. Наоборот, все эти

несчастные вспоминаются только ради добра. Это значит: «быть поэтом действительной жизни до самых незначительных и мелких проявлений её».

Там, где было безобразие, ужасы, гадость, где была умирающая с голоду, два дня не евшая проститутка, которую никто не берёт — гр. Толстой воздвигает знамя «добра», которое есть «любовь к ближнему», Бог. Там, где шла речь о скорейшей помощи и где эта помощь оказалась невозможной, т. е. там, где разыгралась ужаснейшая и возмутительнейшая жизненная трагедия, — у гр. Толстого возникла поэзия проповеди. У Ницше было то же. Он знал, что он — «бедное жертвенное животное», и украсил себя высокими добродетелями *Übermensch*'а, он чувствовал, что «пропал», что наступил «конец, совсем конец» — и говорил: «Если есть Бог, то как же вынесу я мысль, что этот Бог — не я». Так прятались от действительности гр. Толстой и Ницше. Но, может ли их проповедь закрыть навсегда от людей вопросы жизни? Может ли «добро» или *Übermensch* примирить человека с несчастьем, с бессмыслицей нашего существования? Очевидно, что поэзия проповеди гр. Толстого и Ницше может удовлетворить лишь того, кто, кроме поэзии, ничего не вынес из их сочинений и собственного жизненного опыта. Для человека же, серьёзно столкнувшегося с жизнью, весь парад великолепных и торжественных слов, которыми сопровождают гр. Толстой и Ницше шествие своих «богов» — значит не более, чем другие торжества, которыми люди разнообразят своё существование. Его внимание не может оторваться от князя Андрея, от Ивана Ильича, от пастуха, которому вползла в рот змея, и он, пропуская мимо ушей красивые рассуждения, тем напряжённее прислушивается к действительным переживаниям гр. Толстого и Ницше. Как ни безуспешны были до сих пор попытки дать законченный и полный ответ на мучительный вопрос жизни, — их люди никогда не перестанут делать. Может быть, человеку не дано найти то, чего он ищет. Но по пути к вечной истине он освобождается от многих тяготевших над ним предрассудков и открывает новые — если не вечные, то во всяком случае более широкие горизонты. И в этом смысле формула Ницше «по ту сторону добра и зла» является важным, огромным шагом вперёд. Ницше был первым из философов, который осмелился прямо и открыто протестовать против исключительной требовательности добра, желавшего, чтоб вопреки всему бесконечному разнообразию действительной жизни люди

признавали его «началом и концом всего», как говорит гр. Толстой. Правда, Ницше видел одно дурное в «добре» и просмотрел в нем всё хорошее, отступив тем самым от своей формулы — amor fati [любовь к судьбе (*лат.*)]. Он иначе не мог чувствовать, как не может раскаявшийся грешник видеть в грехе что-либо иное, кроме ужасного. В этом вся сила и убедительность философии Ницше. Если б он остался справедливым, мы не поняли бы, о чём он говорит. Нам нужно было быть свидетелями той вражды, той ненависти, того отвращения, того ужаса пред «добром», который был у Ницше, чтоб понять самую возможность его учения, чтоб признать законными известные настроения и разрешить им перейти в сознание, как принцип. Добро — братская любовь, — мы знаем теперь из опыта Ницше, — не есть Бог. «Горе тем любящим, у которых нет ничего выше сострадания». Ницше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога.

1900

